



ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ПЯТИ ТОМАХ

Евгений Канович

Григорий Канович

**Избранные сочинения
в пяти томах. Том 3**

«Автор»

2014

УДК 821.161.1(474.5)(081.2)+821.161.1(596.4)
(081.2)+821.161.1(474.5)-31

Канович Г.

Избранные сочинения в пяти томах. Том 3 / Г. Канович —
«Автор», 2014

Роман «Козлёнок за два гроша» – дилогия. В ней широко представлена жизнь евреев в созданной царским правительством черте оседлости для тех, кто в империи родился под еврейской крышей... С центральным героем дилогии – каменотёсом Эфраимом Дудаксом случилось несчастье: его сын Гирш совершил покушение на виленского генерал-губернатора и был приговорен к смертной казни. Старый отец отправляется на телеге своего друга – балагулы Шмуле-Сендера в Вильно, чтобы проститься со своим сыном. Дорога полна приключений и выстлана горькими размышлениями о мироустройстве, о справедливости, о милосердии, о неискоренимой ненависти между народами. Господь, мол, оплошал, не улыбнулся им, наплодил такое их множество. Не потому ли один из персонажей в пылу спора печально восклицает: «Ах, если бы я был царём, я бы всех сделал евреями!» Во второй части дилогии – романе «Улыбнись нам, Господи», действие переносится в Вильно, где старший сын Эфраима, образованный Шахна работает в жандармском управлении переводчиком и пытается всеми силами помочь брату. Но его попытки тщетны... ибо убийством себе подобных Господний мир изменить к лучшему, к более совершенному, невозможно.

УДК 821.161.1(474.5)(081.2)+821.161.1(596.4)
(081.2)+821.161.1(474.5)-31

© Канович Г., 2014
© Автор, 2014

Содержание

Козлёнок за два гроша	7
I	9
II	43
III	78
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Григорий Канович

Избранные сочинения

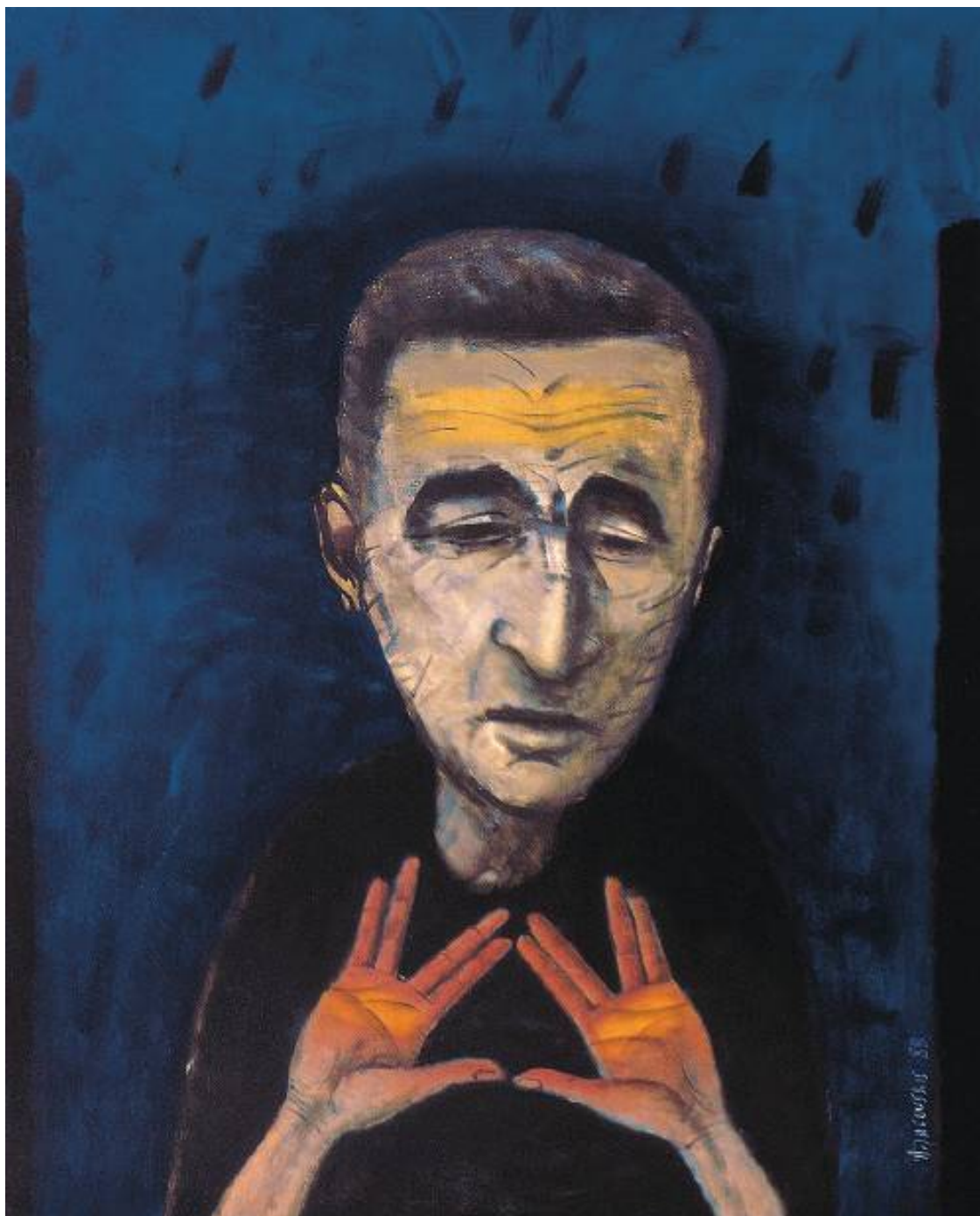
в пяти томах. Том 3

© Григорий Канович, 2014

© Марк Канович, иллюстрации, 2014

© Йокубас Яцовскис, оформление, 2014

©«Tyto alba», 2014



Адомас Яцовскис. Портрет писателя Григория Кановича, 1988

Козлёнок за два гроша

Отцу – С. Д. Кановичу

*Глаз, насмехающийся над отцом и презирающий покорность
матери, выключают вороны долины и пожрут птенцы орлиные.*

Старинное заклятие



I

Всю жизнь старик Эфраим для других надгробия делал, а когда стукнуло ему восемьдесят, стал подумывать о том, что пора и себе соорудить. Высечет он на памятнике свое имя и звание, украсит каким-нибудь изречением из Торы и, закончив работу, в тот же день испустит дух; потому, видно, Эфраим не спешил, долго и придирчиво выбирал для своей могилы камень – и тот нехорош, и этот! – рыскал по полям, по оврагам, по пустошам – мало ли их там валяется без дела, – ездил за камнем чуть ли не в Россиены к такому же каменотесу, как и он, Вацловасу Гадейкису, но то ли не сторговались, то ли камень был с изъяном – вернулся Эфраим домой ни с чем.

Другой расстроился бы – в его-то годы из такой дали, не солоно хлебавши, – но старик Эфраим не только не огорчился, но даже по-своему обрадовался. Стало быть, Господь не торопит его, стало быть, всемилостивейшему угодно, чтобы он, Эфраим бен Иаков Дудак, еще малость небо покоптил, помучался на земле, один, без жены и детей. Ну что ж, живому человеку и помучаться радостно. Конечно, с женой и детьми мука слаще, да где ты их возьмешь? Разлетелись, растаяли, испарились! Криком кричи – не докричишься, навзрыд рыдай – не отзовутся. Разве тучку приманишь? Разве ветер посадишь на цепь?

Были у Эфраима даже три жены: сперва Гинде, потом Двойре, потом любимица Лея, царство им небесное, нарожали ему трех сыновей, а покойница Лея в придачу и дочку, Церту, и отправились к праотцу Аврааму.

С Гинде Эфраим прожил шесть лет, с Двойре – в два раза больше, а с любимицей Леей – почитай, все двадцать.

Не держались у Эфраима Дудака жены, не держались. Что правда, то правда. Всех карает Господь, но Эфраима – во всяком случае, ему так казалось – он карал чаще и жесточе, чем других.

Смерть ходила за женами в Эфраимовом доме, как цыганская собака за телегой.

Гинде, первая его жена, хворала долго – год-полтора. Перед смертью позвала мужа, посмотрела на него выжженными глазами и прошептала: «Может, ремесло твое виновато... Всю жизнь якшаешься не с живыми, а с камнями».

С камнями Эфраим, конечно, имел больше дела, чем с людьми, и в нем самом было что-то от камня – могучий, с широкими, как русло Немана, плечами, с тяжелыми ручищами, которыми он по привычке постукивал себя по коленям, как молотом по наковальне, с крепкими, как багры плотогонов, ногами, под которыми постанывал выложенный им булыжник на местечковой мостовой и, как прищемленная мышеловкой мышь, попискивала покладистая кладбищенская трава.

Об Эфраимовой силе в местечке рассказывали небылицы. Говорили, например, будто в молодости, еще задолго до женитьбы на Гинде, поспорил он, что по нему, как по мосту, проедет телега его друга водовоза Шмуде-Сендера. Телега якобы проехала – говорили, будто бочка была пустая! – не причинив Эфраиму никакого вреда, он поднялся, стряхнул с себя пыль, два раза чихнул, разгладил рубаху и преспокойно, надев ермолку, отправился на вечерний молебен в синагогу. То был, по слухам, всем молебнам молебен. Евреи не столько буравили глазами молитвенники, сколько мышцы Эфраима, бугрившиеся под дешевым льном, как священная гора Сион.

– Ах, ах! – вздыхали на хорах женщины, мечтавшие родить от него сына, хотя и знали, что за такое желание могут через год, через два расплатиться смертью.

Эфраим снисходительно посмеивался над побасенками о его богатырской силе, стеснялся ее, никогда не употреблял во зло, а однажды из родственных чувств даже позволил гончару Цемаху, брату первой жены Гинде, уложить его на лопатки.

Был Эфраим в молодости молчалив – другого такого молчуна в местечке не было. Урядник Нестерович – тогда еще он не был почтарем – принял его за глухонемого.

– Хуже всех тем, которые говорят, – басил Эфраим.

В местечке шутили, что у молодого каменотеса два дома – один с соломенной кровлей, другой – крытый молчанием.

Для того чтобы мостить улицы, делать надгробия, нужна сила, и Господь дал ее Эфраиму, а после того, как дал, еще и добавил.

Сколько надгробий он на своем веку соорудил – всех и не перечесть. Первый камень он поставил в память о сыне рабби Ури, положившего начало местечковому кладбищу.

– Эфраим, – сказал рабби Ури. – Изобрази на камне мое горе и горе моей жены Рахель.

– А как оно, рабби, выглядит?

В те далекие годы, когда рабби Ури приобрел участок для захоронения умерших, Эфраим был простым каменотесом, не ваятелем, не резчиком и о горе-печали ничего не знал. Какая печаль в двадцать лет?

– Как птица с покалеченным крылом, – сказал рабби Ури. – Вчера еще жила в небе, а сегодня упала на землю.

– А разве, рабби, на земле плохо?

– Ты еще не жил на земле, – ответил тот. – Поживешь, и тебе покалечат крыло...

Ах, рабби Ури, рабби Ури! Накаркал, напроорочил, накликать! Но отказать ему Эфраим не мог. Рабби Ури – не простой смертный, рабби Ури – светоч во мгле кромешной, целительный бальзам, мудрец из мудрецов. Эфраим вырубил на камне ангела с подбитым крылом, да так умело, так выпукло, что и сам на него засмотрелся. Посадил он своего ангела на желтый холмик, окопал его со всех сторон, но тот весь трепетал, рвался в небо, – что из того, что у него одно крыло, – ангелы не живут вместе с кошками, дворнягами, с гончарами, банщиками, водовозами.

С той поры, с того дня, когда рабби Ури и его жена Рахель облились слезами, увидев на камне ангела, рвущегося в поднебесье, и посыпались заказы.

– Эфраим, сделай и для моей дочери ангела.

– Эфраим, для моего отца ангела.

– Эфраим, для моей матери ангела.

Ну где он для них возьмет столько ангелов? Есть ангелы, избавляющие от зла, ангелы-ходатаи, воители, ангелы восхваляющие, ангел, охраняющий Сарру от Фараона, а ангелов горя и печали нет.

Когда ангелов на кладбище развелось столько, сколько кур в курятнике, родственники покойников просили изобразить их горе строчкой из Священного Писания, взлохмаченной львиной гривой, рыбой, заходящейся в исступленном беззвучном крике, да мало ли как – сколько ликов у горя, столько и изображений. Но и у него, у Эфраима, стряслась беда – умер отец, плотогон Иаков Дудак, гонявший плоты аж в германский Мемель и говоривший по-немецки, как истый немец, а может, и лучше, потому что речь его была понятна не только немцам, но и евреям.

Иаков Дудак, отец Эфраима, хотя и не отличался такой силищей, как сын, был здоровяк из здоровяков, свободно подкидывал в воздух шестипудовую гирю, мог, не согнувшись, удержать на плечах бычка-двухлетку.

– Задуманы на веки вечные, – шипели завистники.

– Кто рождается на кладбище, тот либо долгожитель, либо дьявол во плоти. Дед Иакова Дудака Шимен среди могил родился.

Отец Эфраима был и долгожителем, и дьяволом во плоти одновременно. У него была удивительная способность заговаривать болезни, он не боялся самого лютого холода, расхаживал по снегу босиком, пугая коченеющих от страха перед резней и погромами сородичей,

для которых снег и стужа были сущим наказанием, ниспосланным еврейскому народу за его грехи. Когда по местечку пошел гулять невеселый слух о смерти Иакова Дудака, никто поначалу не хотел верить. Те, что побойчей, доили пейсы, посмеивались: мол, нас не проведешь, мы, может, деньгами бедны, зато ума у нас палата, можем и вам одолжить. Но и самые бойкие, самые заядлые сдались, когда пришло время отпевать бессмертного Иакова.

Он лежал на полу, завернутый в саван, казалось, такой же могучий, как прежде, и его крупное, как бы желтушное лицо выражало не смирение перед судьбой, а удивление и непримиримость. Его мертвые, свинцовой тяжести руки плыли по половицам, как бревна по реке, и сын его богатырь Эфраим не мог оторвать от них скорбно-восхищенного взгляда. Потом через два года он поставил на могиле памятный камень с изображением плота, мчащегося по бурным волнам жизни и исчезающего в непроглядной пропасти воды-смерти, а на плоту фигурку, маленькую, неприметную фигурку Иакова Дудака.

Памятный камень стоял бы и по сей день, Иаков Дудак и сегодня несея бы по бурным волнам на своем, уже неземном, плоту, не пристыди ваятеля рабби Ури. Где, мол, ты такое, Эфраим, видел на еврейском кладбище? По еврейскому кладбищу скачут каменные олени, на еврейском кладбище рычат каменные львы, развеваются на ветру раскрытые страницы Торы, над еврейским кладбищем круглый год кружатся каменные мотыльки, но плотов никто никуда не гоняет – ни в Мемель, ни к божьему престолу. Как Эфраим ни объяснял почтенному рабби Ури, тот был непреклонен, тот только отмахивался и взамен плотов и рыб предлагал ваятелю виноград, пальмы, плоды граната, голубей, означающих любовь и согласие, и пеликанов с выводком, олицетворяющих родительскую заботу и преданность.

По правде говоря, Эфраиму до сих пор неясно, почему на еврейском кладбище плоту возбраняется лететь в небо, как птице. Небо же – не земля, там всем хватает места, там каждый – и бедняк, и богач, и плотогон, и плот.

– Грех. Неуважение к предкам, – ворчал рабби Ури.

И все, и кончен разговор.

Скрепя сердце Эфраим сколол отцовский плот, переделав его в челнок с маленькой, почти неприметной фигуркой гребца, уронившего весла. Но когда бы Эфраим ни пришел на кладбище, сколько бы ни стоял у отцовской могилы, он всегда видел этот сколотый плот, эту вспененную волнами реку жизни, это буйство и гибельную притягательность воды.

Он видел себя, того, молодого, не обремененного ношей лет, еще не изъязвленного горем, еще не траченного молью, печалью и отчаяньем. Видел свои руки – не сегодняшние, высохшие, как палки, а те, из далекого жаркого лета, лета его первой любви, его неведения; руки, не знающие усталости, сжимающие долото и зубило, резец и молот. С какой легкостью сновали они по камню, сколько в них было заволаживающей прыти. Тогда, в то далекое жаркое лето, его руки напоминали двух забияк-петушков: пока не изойдут кровью, не уймутся. То было шестьдесят лет назад. А сейчас?

Сейчас жизнь ощипала его боевых петушков. Сейчас до могилы так близко, и так пуста в восемьдесят лет котомка, с которой он придет к Господу.

Как много камней и внутри, и вокруг – даже небо теперь как камень.

– Идите дорогой праведных! – говорил рабби Ури. – Вера придаст вам силы.

И они шли и верили – хилыки и богатыри, портняжки и сапожники, каменотесы и парикмахеры, плотогон и гончары.

Верили! Эфраим может поклясться на Библии! Верили в Бога, в плот, мчащийся по волнам в небо, в силу, творящую добро и укладывающую зло на лопатки.

И что из их веры получилось?

Плот рассыпался, остались только склизкие мокрые бревна, и каждый норовит присвоить их, чтобы построить *свой* дом, срубить *свой* хлев, воздвигнуть *свою* крепость. Но что

это за вера, которая уместается в одном доме, которую можно загнать в хлев, для которой требуется крепость?

Старику Эфраиму дом даже для детей не нужен.

Нет их. Разлетелись кто куда.

Никогда не думал Эфраим, что заберет его такая тоска по детям, как сейчас, в канун его ухода, в конце его земного пути, который он на протяжении шести десятков лет добросовестно мостил отборными камнями, чтобы им, его счастливым и безвестным потомкам, было легче ходить и ездить (и верить!); пути, который он с обеих сторон обсаживал деревьями надежды, надежды на то, что когда-нибудь – когда его уже не будет и в помине! – сольется он, этот путь, разрезавший, как ножом, местечко на две половины, со вселенской дорогой, и его, Эфраима, дети выйдут по ней к свету и справедливости, к равенству и братству. Но ничто так медленно не плодоносит, как дерево надежды, всю жизнь ждешь его плодов, а на нем за одну человеческую жизнь только почки набухают.

Дорога! Дорога! Как ни прямо она, вспомнил Эфраим слова рабби Ури, а все равно ведет туда, на кладбище. Как странно – не дети, а чужие люди проводят его, опустят в яму, заруют, и не будет среди них, кроме камня, ни одного близкого родственника, ни сыновей, ни дочери. Камни – самые верные его родичи с того дня, когда отказался он пойти в плотогоны и отправился на строительство тракта, добравшегося и до его, Эфраима, родного местечка. Он не хотел быть плотогоном, не хотел быть портным или сапожником. Его сила потешалась над иголкой, презирала шило, требовала не подражания, а самостоятельности. Иаков Дудак, отец Эфраима, сына и дурнем обзывал, и недоумком, но Эфраим не сдался. Господи, сколько камней перетаскал он на себе, сколько их согрел своими руками, сколько уложил в землю, как в колыбель.

Любимица Лея, третья его жена, частенько упрекала его:

– Ты свои камни любишь больше, чем своих детей. Больше, чем меня.

Корила и тайком вытирала свои черные бездонные глаза.

Эфраим обнимал ее своими пудовыми ручищами, прижимал к своей богатырской груди и молча, дыша на нее виной и любовью, не то успокаивал, не то просил прощения, а может, и беззлобно журил.

– Всех на свете надо любить. И тебя, и детей, и камень. Кто ж его, одинокого, полюбит? Кто, если не мы... человеки?

Лея не понимала, почему это надо любить всех, даже неодушевленный камень, но Эфраим уверял ее, что у камня такая же душа, как и у человека. Во всем каменотес искал душу.

– Душу нельзя увидеть глазами, – говорил он. – Потому что глаз алчен и завистлив.

Лея все время ревновала его к чему-то невидимому, не доступному глазу, тонула в его молчании, как в омуте, и потом, в постели, обвивала своими тростниковыми руками его голову, забиралась на него, как на плот, и до утра, опьянев от ласки и неги, в беспамятстве плыла по простыне, как по белому, быстроходному облаку, шептала что-то стыдное, нежное и называла: «Мой камень, мой добрый камень...», а он только улыбался в темноте, и грубое его лицо озарялось улыбкой, как хлев факелом из подожженной пакли.

Он был счастлив с Леей. Недаром она родила ему столько детей, сколько Гниде и Двойре вместе. Двое умерли при родах, а погодки Эзра и Церта уцелели. Двадцать лет прожил Эфраим с Леей, за это время она даже состариться не успела. Другие женщины в местечке старели, сидели, покрывались морщинами, а она, его Лея, выглядела как невеста. Эфраим берег ее от сглаза, от шныряющих по местечку странников, отпугивал их своим суровым молчанием, отгонял, как слепней, мог в случае нужды взять самого прилипчивого за шиворот и выставить прочь. Молодость Леи льстила ему, и он просил у неба только

одного, чтобы Лея пережила его, чтобы не сошла до времени в могилу, как и две его другие жены – Гинде и Двойре.

Небеса, казалось, не отказали Лее в своей милости, услышали Эфраимову просьбу. Лея цвела, как яблоня, роняя на Эфраима свой цвет и орошая его своей молодостью, как весенний паводок дернину. Может, потому, а может, по другой причине Эфраим так растерялся, когда Лея вдруг слегла. Все началось с легкого кашля, с невинной простуды (дело было под Рождество), не предвещавшей ничего дурного. Полежит денек-другой в постели, попьет липового отвара или молока с медом, попарит в корыте ноги, и кашель как рукой снимет. Но Лея кашляла пуще прежнего. Даже за околицей, у молельни, было слышно, как она надрывается, бедняга. Никакой отвар, никакое молоко – ни парное, ни кипяченое – не помогли.

Эфраим надел кожух и по льду отправился на другой берег Немана, в крохотный городок, где жил старый фельдшер по фамилии Браве, изредка лечивший и мишкинских евреев.

Эфраим отыскал его дом, объяснил Браве свою просьбу и стал ждать ответа.

Фельдшер Браве крутился возле пахучей, увешанной чистенькими тряпичными гномиками елки и, похоже, не обращал на просителя никакого внимания. Он переставлял своих гномов, поправлял на них красненькие колпачки с таким тщанием, словно от этого зависело все: и жизнь Леи, и продолжительность зимы, и благополучие его дома.

– Господин доктор... Моей жене... плохо... нихт гут, – произнес Эфраим на ломаном немецком, скрестив свой родной язык с языком Браве, как яблоко с грушей.

– Нихт гут.

Всем своим видом Эфраим давал Браве понять, что заплатит – у него, Эфраима, есть марки, да, да, есть, – что он до гроба не забудет господина доктора, только пусть поскорей надевает шубу, пусть оставит в покое своих гномов – с ними ничего не случится, а вот с Леей...

– Майн фрау... руфт мен... Лея... (мою жену зовут Лея), – на яблочно-грушевом наречии сказал Эфраим.

Но Браве, видно, не было никакого дела до Леи, до марок, до талеров, до рублей, до назойливого гостя. Он готовился к Рождеству, и ничто другое его не занимало.

Эфраим затравленно оглянулся. Взгляд его вдруг зацепился за лисью шубу, висевшую на оленьих рогах в прихожей. В два скачка Эфраим очутился у оленя, снял с его рогов шубу и, не дав Браве опомниться, закутал его в нее.

– О, майн готт! – воскликнул Браве. Он не понимал, что этот огромный, этот лохматый юде собирается с ним делать – убивать или грабить?

Эфраим не выпускал его из своих объятий. Браве хрипел, пытаясь освободиться от собственной шубы и вернуться к гномикам в красных колпачках и желтых сапожках.

Эфраим связал тонконового, поджарого фельдшера сыромятным ремнем и, пользуясь ранними зимними сумерками, понес Браве из теплого рождественского дома к замерзшей реке, по которой проходила русско-германская граница.

Эфраим нес его задами, огородами, чтобы никому не попадаться на глаза.

Пересек Неман.

– Энтшульдиген зи битте... – шептал он, как заклинание.

Пленник ерзал, закутанный в злополучную шубу, клял насильников-юден, клял близкое соседство с дикой Россией, клял стужу (Эфраим в спешке не заметил, что господин Браве не в ботинках, а в теплых ярких шлепанцах, которые, казалось, сняли с елки), сучил озябшими ногами и негромко завывал. А может, это завывал не он, а ветер, метавшийся между двумя империями.

Когда Эфраим принес связанного фельдшера к себе домой, тот наотрез отказался осматривать Лею.

– Найн! Найн! – мотал он головой, как гном на рождественской елке.

Он принялся снова, в том же порядке, клясть насильников-юден, Россию, стужу, тер ногу об ногу, силясь вернуть им прежнее, германское, тепло.

Лея испуганно смотрела на мужа, на незнакомца, одинаково жалея их, а молчаливый Эфраим кивал то на больную жену, то на себя и приговаривал:

– Энтшульдиген зи битте... ради бога... помогите ей... Я отнесу вас обратно... цурюк... ферштейст? Цурюк... И ботинки дам – шуэ... и носки... Понимаете, носки... по-нашему шкарпеткес, а по-вашему не знаю...

– Умрет твоя жена... дайн фрау... штербен... Умрет... – выдохнул перепуганный, мстительный фельдшер, и Эфраим весь сжался, сплющился, как будто у него вынули кишки. Только теперь он заметил, что у Браве – ни трубки, ни лекарства, зря он тащил его столько на себе, только подверг себя опасности, ведь за такое похищение и взгреть могут, фельдшер пожалуется своему, германскому, начальству, те передадут русским властям, явится урядник, спустит с тебя портки и отсчитает пятьдесят горяченьких. Хорошо еще, если плетью отделаешься. А вдруг – чтобы улестить германца – тебя сперва в россиенский острог упекут, а потом в Сибирь погонят.

Но что плети, что Сибирь по сравнению с этими ржавыми словами:

– Умрет дайн фрау... умрет...

Пусть секут плетью, пусть ссылают на край света, но пусть Лея живет. Слышите, господин Браве, пусть Лея живет! Пусть по-прежнему цветет, как яблоня, роняя свой цвет на него, на погодков Эзру и Церту, орошая их своей любовью, как паводок дернину. Слышишь, Бог! Пусть живет! Если костлявая изголодалась, если ей нечем набить свое брюхо, возьми меня! Только не трогай Лею!

Эфраиму нестерпимо хотелось спросить у Браве, означают ли его слова обыкновенное проклятье или приговор. Он на минутку оставил фельдшера наедине с Леей – может, ей удастся расшевелить его! – а сам потопал в прихожую, принес оттуда казанок с остывшей картошкой, нарезал хлеб, достал соль, подвинул ее фельдшеру. Браве опасливо-брезгливо выловил картофелину, посыпал ее солью и принялся по-стариковски, с чавканьем и чмоканьем, есть, боясь вконец разозлить Эфраима.

Радуюсь сближению, Эфраим приволок свои еще не надеванные башмаки, привезенные ему из Вильно преуспевающим начальственным Шахной, поставил перед изумленным немцем и, достав из комода шерстяные носки, предложил ему обуться.

Браве, как курица с насеста, скосил глаза на один башмак, на другой, мысленно их примерил, но обуваться не стал, поднялся из-за стола, скинул свою лисью шубу, положил ее на лавку и, прошелестев шлепанцами, заковылял к кровати, где на взбитых подушках лежала смертельно больная Лея, пунцовая, с растрепанными волосами, глаза у нее лихорадочно горели, и блеск их, подозрительно яркий, больше отдавал закатом, чем восходом солнца.

Дети – Эзра и Церта – испуганно поглядывали на незнакомца, на отца, совершившего ради матери такой замечательный подвиг.

Фельдшер присел на край кровати, взял руку больной, послушал пульс, что-то прощамкал, потом изогнулся, наклонил свое ученое ухо к груди Леи, которая покорно и забывременно задрала сорочку.

– Ну? – торопил его хозяин. Эфраиму казалось, будто Браве отдыхает на груди у Леи, касается своим волосатым ухом ее правого соска; каменотес сердился на фельдшера и даже на Лею: чего позволяет этому немцу... Он вдруг подался вперед, чтобы помочь немцу как можно скорее услышать говорок хвори.

Прослушав легкие Леи, Браве принялся высохшими пальцами мять ее живот – ворох спелой пшеницы, – и Эфраим снова весь вспыхнул от ревности и возмущения. В самом деле – что это Браве ее месит, тискает, дразнит хворь?

Эфраим ждал от фельдшера каких-то слов, он и сам не знал, каких, ну, наверно, таких, какие говорят все доктора: «Поправится... завтра станет лучше...» Но Браве был нем, как гном на елке. Он только чмокал губами, только моргал ресницами, и в этом чмокание, в этом постоянном моргании Эфраиму чудилось что-то неотвратимое. Сияясь отодвинуть угрозу, он потерянно, сорвавшимся голосом издала спросил:

– Что вы там... в груди у нее... услышали?

Но Браве не ответил, и от этого Эфраим расстроился больше, чем от его первых страшных слов. Он бросился к фельдшеру, взял кружку, наладился было сливать ему, но Браве вытащил из жилета носовой платок и принялся вытирать руки. Эфраим стоял как вкопанный с кружкой в руке, вода из кружки лилась на пол, пол прогибался под его огромными ботинками, но несчастный каменотес ничего не замечал.

Фельдшер долго зашнуровывал Эфраимову обувь. Ботинки каменотеса были велики немцу, но тот, похоже, не огорчился. Лицо его выражало крайнюю степень удовлетворения, сменившего прежнее раздражение и злобу. Как же? В таких невыносимых условиях он выполнил свой долг, не нарушил клятвы Гиппократы, которую, если память ему не изменяет, давал на первом курсе королевского университета в Кёнигсберге, хотя и не закончил его по состоянию здоровья (у него открылась чахотка) и по причине потомственной бедности. Йа, йа! Долг превыше всего. Он может уходить со спокойной совестью. Этой юдин... этой, хе-хе, очаровательной юдин никто не поможет – у нее, видно, болезнь крови. Никто. Даже Бог, если бы этот ферфлюхтер юде, этот насильник, украл его с неба.

От порчи крови нет лекарства.

Эфраим долго стоял у окна, глядя на согбенную фигуру удаляющегося по местечковой улице Браве, смотрел, как он, нахохлившись, ступает по выложенному им, Эфраимом, булыжнику, и ему страшно было оглянуться на примолкшую Лею, на Эзру и Церту, забившихся в угол, на свой стол, на котором трупно синела недоеденная картофелина, на облупившиеся, давно не беленные стены (Эфраим собирался побелить их, даже белила в москательной-скобяной лавке Спиваков купил). Смотрел на стены и завидовал клопу, который ночью выползет на промысел и потом вернется к своей клопихе. А вот он, Эфраим, должен лечь рядом с умирающей.

– Господи, вырви мой язык, – сказал он тихо.

Дети заплакали, Лея заметалась на кровати; сквозь жар, сквозь лихорадку, сквозь смертный сон, сковывавший веки, прорвалось:

– Ты меня зовешь, Эфраим?

Господи, порази неподвижностью мою правую руку, только верни Лее силы, сделай так, чтобы не я ее похоронил, а она меня, рокотало у Эфраима внутри, и этот рокот грозил разорвать грудную клетку.

Никого он так не любил, как Лею. Никого. Даже родную мать. И не задумывался, почему.

Эфраим никогда не задумывался над этим.

А вот сейчас задумался.

Он должен дать ответ не Лее, не Эзре и Церте, а самой смерти, и, поскольку она знает все ответы наперед, надеялся растянуть свой ответ на годы, на десятилетия.

Погоди, смерть, я отвечу, отвечу, отвечу. Садись и слушай.

Но смерти неинтересно, кто кого любит.

Смерть любит самое себя.

И потому она вечна.

И потому всегда остается в выигрыше.

Тогда, у постели умирающей Леи, ему впервые пришло в голову сделать и себе впрок надгробие. Он высечет на нем такие слова:

– Эфраим бен Иаков Дудак, рожденный для смерти в одна тысяча восемьсот двадцать третьем году... каменотес. И все. И больше ни строчки, ибо все остальное неправда.

Он сделал бы его тотчас и поставил бы за один день, если бы не стыдился детей.

Эфраим откладывал сооружение не только собственного надгробия, но и памятника Лее. Пять лет подходящего камня не находил, пока не привез его из Тильзита.

Рабби Ури его и кощунником называл, и упрямец – такие среди евреев встречаются редко, ибо евреи – не цыгане, евреи бесследно не хоронят – не сравнивают могилу с землей.

– Вы ж, Эфраим, любили ее, – горячился рабби Ури.

– Потому и не спешу. Для Леи надо найти не камень, а перышко.

Он любил Лею.

Ему хотелось, чтобы ей и после смерти было легко.

Он ее и сейчас любит, когда ему восемьдесят стукнуло, и на том свете будет любить, хотя там обретаются и две другие его подруги – Гинде и Двойре.

Рабби Ури не видел, как он ее любил, как неся их плот по ночам, не слышал, какие лютни над ним звучали.

Не видел рабби Ури, как он, Эфраим, держал ее на руках мертвую, как ерошил ее волосы и приговаривал: «Лея!.. Лея!» Рабби Ури не видел, как он баюкал ее, запеленутую в саван, не опуская на пол, как того требовал обычай.

До самого кладбища он нес ее на руках и жалел, что кладбище так близко. Он, Эфраим, мог бы ее нести и нести. Он мог бы ее нести до Мишкине, до Россией, до Ковно, до Вильно, даже до Земли обетованной.

Он принес бы ее в священный город Иерусалим, и Бог смилостивился бы над ними и над Эзрой и Цертой, воскресил бы Лею, изгнал бы из ее смарагдового тела хворь, очистил бы от порчи ее кровь, и отправились бы они, помолившись, назад, на родину, в Литву, где такое маленькое, такое серое, как овчинка, небо, где остались все его дети от всех его жен.

Он мог бы скитаться с ней, как цыган, лудить на базарах посуду, красть коней и мчаться на них во весь дух по лугам и полям, по градам и весям, унося ее от смерти.

Уж так, наверно, устроен мир, думал Эфраим, стоя у открытой могилы безвременно сгоревшей Леи, уж так устроен мир, что Всевышний отнимает то, что дорого, и дает то, что немило. Не потому ли вчерашний, пусть пасмурный, пусть не очень счастливый день лучше завтрашнего, который еще надо прожить, и неизвестно, каким он будет.

Он стоял и смотрел, как похоронная братия равнодушно, вытирая испачканные мокрой глиной носы, ловко орудуя лопатами, зарывает его вчерашний счастливый день, его козочку, его виноградник, а он – богатырь, косая сажень в плечах – бессилен перед взмахом этой ржавой и вездесущей лопаты.

Гелэв гаволим!

Суэта суэт и всяческая суэта!

Двадцать лет промчались как один миг. Эфраим сидит в синагоге и ждет своего друга водовоза Шмуле-Сендера, который помогает ему искать камень для надгробия.

Шмуле-Сендера нет. Молельня пуста.

Эфраим глядит на ковчег завета, расписанный добродушными лиловыми львами, держащими в своих когтистых лапах не то кубки с праздничным вином, не то роги, полные меда, и, комкая каравай Моисеева Пятикнижия, что-то бормочет себе под нос.

Время – костер, бормочет он, события – хворост, а человек – овца для заклания. Костер пылает, хворост трещит, овца дрыгает ногами, и так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, из века в век и снова изо дня в день, и ничего не меняется на белом свете, даже если кто-нибудь и убавит пламя, если хворост и намокнет, если овцу перед тем, как принести в жертву, отдадут стригальщику, все равно через час, через восемьдесят лет (разве восемьдесят лет – не один час?) отнимут ее и бросят в огонь.

Почему же ты меня забыл?

Потому что шерсть моя запаршивела?

Потому что одинаково нет проку ни в моей жизни, ни в моей смерти? Восемьдесят лет прожил, а бурдюк пустой.

Господи, неужели мне столько? Неужели столько лет день за днем, год за годом я прихожу в эту убогую молельню и не свожу глаз с этих лиловых львов, держащих в лапах вестников твоей безъязыкой радости и веселья? Хоть бы один раз разинули свою пасть, хоть бы один раз зарычали от моего вздоха, от моего взгляда, от моего стога! Молчат! Молчат!

Старик Эфраим косится на ковчег завета и сам порывается, и рык его отдается в пустой молельне зловещим эхом. Эфраим пугается звука собственного голоса, но тут в синагогу входит его друг и советчик водовоз Шмуле-Сендер, сухопарый, благообразный, с плавными, будто смычком водит по струнам, движениями, в длинном зипуне, подпоясанном замызганным поясом. Он подходит, вернее, подкрадывается к Эфраиму и, по-заговорщицки хихикнув, бросает:

– Нашел! Нашел для тебя камень! Всем камням камень!.. В имении графа Завадского. Попросишь Юдла Крапивникова, он тебе, глядишь, и отдаст...

Шмуле-Сендер произносит это с непонятным Эфраиму волнением, как будто речь идет не о могильном камне, а о краденых драгоценностях, садится рядом с каменотесом и против обыкновения замолкает. По его непривычному молчанию, по глазкам-пуговкам, бегающим по ковчегу, амвону и даже потолку, Эфраим догадывается, что камень в имении графа Завадского – не единственная новость, которую принес в молельню водовоз. Так уж повелось исстари, что балагулы и водовозы больше всех знают: весть то по реке приплывет, то в дороге под полог кибитки попросится. О войне, о море, о голоде, о погромах первыми местечковому жителю сообщают они, возницы, заменяя большинству газету. Так, помнится, Эфраим от Шмуле-Сендера узнал об освобождении крестьян. Шмуле-Сендер примчался в синагогу с криком:

– Свобода, евреи! Свобода! Да пошлет Всевышний царю Александру Второму радость и процветание! Свобода!

Когда евреи разобрались, в чем дело, то оказалось, что это не их свобода, а крестьянская, но виду не подали и продолжали ликовать. Ничего не поделаешь – при отсутствии собственной радуешься хотя бы чужой. В другой раз Шмуле-Сендер вкатил бочку на рыночную площадь, влез на нее, набрал в легкие воздуха и что есть мочи заорал:

– Убили! Евреи, убили!

Поначалу все на базаре подумали, будто евреи совершили какое-то тяжкое преступление, окружили бочку, с которой разглагольствовал Шмуле-Сендер, стащили его с нее и чуть в ключья не разорвали. К счастью водовоза и еврейской общины, выяснилось, что убили царя-батюшку, того самого, что крестьянам свободу даровал.

В отличие от Эфраима, Шмуле-Сендер без слов не мог и минуты обойтись. Слова были его пищей. Он набрасывался на них, как голодный воробей на хлебные крохи. Порой казалось, что только ими, словами, Шмуле-Сендер и сыт. Он мог безостановочно говорить круглые сутки.

Что-то явно скрывая от Эфраима, Шмуле-Сендер снова принимается нахваливать графский камень:

– Пух лебяжий, а не камень... Чтобы мне под таким лежать... Легкий, красивый, с прозеленью... Только из-за него стоит сойти в могилу!

Словолей! Говорун!

А все потому, что воду возит. Воду возить – не ремесло. Воду возить каждый умеет. А то, что умеет каждый, не работа, а развлечение. Он, Эфраим, хоть завтра, хоть сейчас – дай

ему только лошадь и телегу – нальет бочку воды и развезет по домам. А вот Шмуле-Сендер надорвется, если вздумает камни ворочать.

В местечке дивились их дружбе – до того они были разные. Эфраим – молчун, увалень, ломовая лошадь, Шмуле-Сендер – словоблуд, хилак, попрыгун. Однако дружили они с детства, с хедера, где их сек яростный меламед Гершен, который иногда, обленясь, доверял их зады и своей жене Малке. Ясное дело, кого вместе секут, те друг за друга всю жизнь держатся.

Эфраим не давал Шмуле-Сендера в обиду, приходил в ярость, когда над водовозом посмеивались, обожал слушать его побасенки о царе, которого он якобы своими глазами видел. «Как тебя вижу. Вышел из леса, в правой руке – подстреленный заяц, в левой – винтовка с золотым стволом!», о других странах и народах, например об Африке («Они там все черные и круглый год ходят в чем мать родила!»), об Америке («Там есть еврей-губернаторы! Чтоб я так жил! Если бы мой Береле не занялся бы там торговлей часами, и он бы стал губернатором!»). Эфраим никогда не принимал на веру его небылицы, но без них скучал и тянулся к Шмуле-Сендеру больше, чем к нищему Авнеру, с которым тоже издавна водил дружбу.

Шмуле-Сендер Эфраиму и Двойре, вторую жену, сосватал. Пришел однажды и выпалил:

– Есть у меня для тебя, Эфраим, невеста! Уж эта точно не умрет. Потому что все время околачивается на кладбище и оплакивает других. Зовут ее Двойре-Дада. Дада – прозвище. Она никогда не говорит «нет!», а только «йе-йе» – «да-да».

Что за наваждение?

После того как стукнуло ему восемьдесят, все его жены начали ему сниться то в отдельности, то вместе. На прошлой неделе он видел такой сон:

приходит Гинде, первая его жена, ложится в постель, требует, чтобы и он, Эфраим, лег; только лег – стук в дверь;

слезает с кровати, открывает, а там Двойре, вторая его жена, та, которую Шмуле-Сендер ему сосватал;

и она – в постель;

Двойре-Дада – справа, Гинде – слева;

и ждут;

а он не шелохнется – застыл на пороге, в одной сорочке, чешет голую грудь;

снова стук;

Лея!

И тут Эфраим проснулся.

Стыд и срам видеть такие сны. Да еще в его возрасте. Но жены словно сговорились – приходят в его сновидения, как покупатели в лавку, пялят друг на дружку глаза, делят его на три части, как воловью тушу:

Гинде, первой его жене, – руки.

Двойре-Дада – ноги.

Любимице Лее – грудь.

ТЬФУ!

Во сне они все молодые, а он – старый. Чего старому покоя не дают?

Эфраим сидит в молельне и вспоминает всех своих жен.

Двойре-Дада была хорошей женой, но занудой и скупой, как все старые девы. Но ни ее занудство, ни ее скупость так не донимали Эфраима, как это ее вечное «да-да!».

Хоть уши затыкай! Со всех сторон на голову бедного Эфраима обрушивалось «да-да», «да-да», «да-да». Словечко жены подстерегало Эфраима в каждом углу, в чулане, на чердаке, часы с тяжелым маятником тикали: «да-да, да-да», птицы на ветвях выводили: «да-

да», половицы поскрипывали: «да-да». Паршивая присказка заменяла Двойре все глаголы и существительные.

Иногда и в постели до слуха обессиленного Эфраима ни с того ни с сего долетало:

– Да-да... Да-да...

То ли как просьба, то ли как укор.

Поначалу Эфраим проклинал тот день, когда поддался на уговоры своего друга Шмуле-Сендера и обвенчался с Двойре, хотя и признавал все ее достоинства (и немалые!). Она была удивительно чистоплотна, бережлива, предана до судорог, любила пасынка Шахну – первенца Эфраима, любила как своего родного сына, ничего не жалела для него, не делала различия между ним, сыном Гинде, и Гиршем, их общим с Эфраимом чадом, целыми днями Двойре не бывала дома, кого-то обмывала, оплакивала, пропадала на кладбище, ухаживала за всеми могилами, даже за теми, которые давным-давно мхом обросли, не пропускала ни одной похоронной процессии, всегда шла впереди вместе с родственниками покойника или покойницы, поддерживала их под руку, шептала свое непостижимое «да-да», обязательно заглядывала в яму и, примеряя ее к себе, искренне и громко причитала (слез у нее было больше, чем у любой другой местечковой бабы), потом возвращалась домой и на все вопросы домочадцев, начиная с материи, из которой сшит был саван, и кончая числом скорбящих, отвечала:

– Да-да... Да-да...

И свою смерть, как считал Эфраим, Двойре привела оттуда, с кладбища.

Ходила, ходила и привадила.

– Ты ее еще к Гиршу и Шахне приведешь, – разозлился однажды Эфраим.

А она взяла и ответила:

– Да-да... да-да...

Смертельно больная, она лежала в постели, отказываясь от пищи, не подпуская ни на шаг Эфраима, а Шахну и Гирша дребезжащим голосом гнала от себя, как будто они и впрямь могли заразиться смертью.

– Не приближайтесь! Не смейте!

Чувствуя свою вину перед ней, Эфраим изредка подходил к кровати, на которой она угасала, хватал ее, эту кровать, своими могучими ручищами, выносил во двор, ставил под дикую грушу, и тогда солнце золотило пепельно-серые волосы Двойре, и волосы вспыхивали, как пучок соломы, а Эфраим стоял в изголовье, держась за дубовую спинку, смотрел на спокойное, умиротворенное лицо жены, на котором земляничкой розовела родинка. Эфраиму непонятно почему хотелось ее сорвать, и от этого желания душу захлестывали не безропотная печаль, не дряблая жалость, которую обычно испытываешь при виде умирающего, а какой-то глухой рокот.

Раньше Эфраим никогда так не роптал на небеса. Раньше он покорно соглашался с кознями смерти-разлучницы. А тут не выдержал – взял и возроптал, не стеснясь и не боясь.

– Пошла вон, – сказал он.

– Пошла вон! – повторил он.

Двойре-Дада зашевелилась.

– Собака?

В доме собаки никогда не держали.

– Собака, – машинально ответил Эфраим.

И вдруг его осенило. Он даже съежился от догадки.

Смерть – бешеная собака, наделенная божественной властью. Бог через ее укусы испытывает нашу душу и нашу любовь к нему. Доколе же ты, собака, будешь пытаться меня, гудело у него в груди.

Доколе?

Тут, во дворе, под дикой душистой грушей, в изголовье умирающей Двойре, его второй жены, Эфраим внятно слышал, как обыденно, по-домашнему лает бешеная собака, которую нельзя прогнать со двора.

– Я могу взяться и за твоих детей... и за тебя, – слышалось ему в ее хриплом лае.

За себя Эфраим не боялся. Пусть берется за него, пусть вгрызается в него своими клыками. Но Шахну и Гирша, детей его, пусть не трогает.

– Чур их!

– Чур!

– Укуси меня! Меня-меня-меня!

Двойре о чем-то попросила, он склонился над ней, и рокот в его груди прекратился, лай замолк.

– Эфраим... скажи... только правду... ты меня да-да?

– Да-да.

– Ты меня... не забудешь... да-да?

– Да-да...

– И я тебя, Эфраим... да-да... – застонала и выдохнула, – очень... да-да... очень.

Нашла время объясняться в любви. Главное теперь любить не мужа, а Его, чтобы он свою бешеную собаку на Шахну и на Гирша не науськал.

– Эфраим... А ты знаешь, почему я ходила на все похороны?..

– Да-да... то есть нет...

– Отец мой говорил: человек жив до тех пор, пока других хоронит... Неправда... На свете все неправда. Даже правда... да-да... Зачем она нам, эта правда, Эфраим, если надо умирать?

Что за чертовщина, думает Эфраим. Мелькают перед глазами, сменяют друг друга, снятся... жены... дети... и все это с недавних пор... с прошлого лета, когда ему стукнуло восемьдесят.

С тех пор он, Эфраим, как бы живет в разных временах – в настоящем, прошлом и будущем, переносится из одного времени в другое, переходит, как из комнаты в комнату, как из леса – в поле, как с поля на большак; времена путаются, большак врезается в поле, поле подступает к лесу; времена наплывают, сливаются, как облака, несутся вместе, и от их слияния, от их соприкосновения, от их столкновения грохочет гром, сверкают молнии, и на перекрестье между молниями живет человек, и, если ему неведомо в одном времени, в детстве ли, в юности ли, в зрелом ли возрасте, он может переноситься в старость; старость всегда открыта, как богадельня. Всегда.

Только не по душе Эфраиму ни одно из времен, ни прошлое, ни настоящее, ни будущее, а четвертого времени нет, Всевышний его не придумал или прячет его от смертных, чтобы они не осквернили его, не запоганили, не растратили попусту.

Старик Эфраим вздыхает, поворачивается к Шмуде-Сендеру (тот тоже ни для какого времени не годится), ждет, когда водовоз попотчует его новостью, которую пока держит, как голубя за пазухой. Эфраим готов биться об заклад, что это дурная весть. Добрые вести о счастливом белом Берле, торгующем в Нью-Йорке самыми лучшими в мире часами, или об окончании погрома в Гомеле или Меджибоже выпархивают из-за пазухи сами. А дурную весть надо сперва остудить, чтобы она своими горящими искрами сердце не выжгла, глаза не ослепила бы.

Что стряслось?

Царя убили?

Новая война с турками?

Персы полезли?

Японцы?

Чума в уезде?

Это, конечно, дурные вести, плоше и не придумаешь, но не для него, Эфраима, – царя он не заменит, в войско его не возьмут, персов и японцев он не остановит, чумы не боится, нет на свете чумы страшней, чем старость.

Погром?

Но Шмуле-Сендер о погромах рассказывает в первую очередь – раньше, чем о царевубийствах. Погромы могут с юга докатиться и сюда, до Литвы, до Мишкине, их родного местечка. Евреи о погромах должны знать заранее, чтобы к ним загодя подготовиться.

Сколько раз Шмуле-Сендер, нищий Авнер и Эфраим сражались здесь, за печкой синагоги, с захватчиками-персами, наглецами-турками, погромщиками, сколько раз косили врагов израилевых и государевых самым разящим своим оружием – храброй еврейской мыслью.

Может, Эфраим зря переполошился. Может, никаких вестей за пазухой у Шмуле-Сендера нет.

Да нет, водовоз что-то знает.

Знает.

По всему видно.

Камень графа Завадского – это только для отвода глаз. Эфраим сердцем чует. Оно его еще ни разу не подводило. По его ударам, как по буквам, Эфраим прочитывает то, что случается в других местах – в Киеве, в Вильно, в Минске.

Сейчас сердце что-то про детей подсказывает. Только Эфраим не может взять в толк, про кого именно – четверо их, слава богу, у него: Шахна, Гирш, поскребыш Эзра и Церта.

Он прислушивается к своему сердцебиению и, глядя на Шмуле-Сендера, шепчет имя своего среднего сына Гирша.

Что-то с Гиршем стряслось?

Эфраим не сомневается: первым в беду попадет Гирш. У Церты тоже беда. Но с той бедой, которая постигнет Гирша, ее беду не сравнишь.

Уж больно Гирш строптив, уж больно зол на весь белый свет.

Эфраим предлагал ему в каменотесы пойти: вечное ремесло и для здоровья полезное, и платят сносно. Куда там!

– Не буду весь век на коленях ползать, как ты, – отрезал Гирш.

На коленях ползать! Да разве он, Эфраим, ползает? Он работает. В конце концов, чтобы честно копейку заработать, не грех и поползать. Грех – перед господином, перед купцом или подрядчиком ползать. А перед работой? Дай ему, Эфраиму, только бог еще годков десять перед ней поползать!

Хотел Гирша взять в ученики и Аншл Берштанский, парикмахер, и снова Гирш ошестинился, как еж:

– Брадобреем – никогда! К чужим болячкам и перхоти прикасаться! Лучше подохну с голоду.

И то ему нехорошо, и это.

Наконец решил в город податься, в Вильно.

Как и братья.

Как и сестра.

Эфраим умолял Гирша, чтобы разыскал в Вильно Шахну, старшего брата своего, тот, по слухам, большой там начальник, «ученый еврей при губернаторе», как уверяет всезнайка Шмуле-Сендер. Важно не при ком, а важно, что ученый.

– Он тебе и с жильем, и с работой поможет, – сказал Гиршу Эфраим.

Но средний сын и слушать про помощь не хотел.

– Не брат он мне. Не брат.

Как же так – не брат?

Отец ведь у них один – он, Эфраим. И росли вместе, сироты. Шахна его, Гирша, и ходить научил. Бывало, возьмет за руки и водит по дому, по двору, по мостовой. Водит и приговаривает:

– Мы с тобой всю землю обойдем. Только не падай.

Может, он его и в Вильно за руки возьмет и не даст упасть?

Что-то стряслось с Гиршем.

Или с Цертой. Давно от нее из Киева писем нет.

С Шахной ничего дурного случиться не может. Шахна живет, не тужит, посылает ему, Эфраиму, каждый месяц деньги. Видно, губернатор ценит его, иначе такое жалованье не платил бы.

И Эзра, поскребыш, здоров, птица перелетная, бродяга.

Пока Эфраим думает о своих детях, в молельню входит местечковый нищий Авнер Розенталь.

Авнер здоровается с Эфраимом, кивает Шмуле-Сендеру, садится напротив ковчега завета и, позевывая, начинает читать молитву.

Эфраим завидует Розенталю. Авнер на своем веку повидал не одну молельню, не одно местечко, не один город. Где только ни бывал, в какие двери ни стучался!

Чтобы приглушить свою тревогу за Гирша, Эфраим поддевает крючком своей мысли Авнера. Хорошо ему – ни жены, ни детей. Детей у него никогда не было, а жена его утопилась. Не вынесла, как он говорит, позора, не захотела быть нищенкой.

Авнер долго стоял на берегу Немана и тыкал своим нищенским посохом в воду.

Тыкал и плакал.

И звал ее.

Плакал весь день. И всю ночь.

С тех пор чужие жены полощут белье в слезах Авнера.

– У человека два Немана слез. В каждом глазу по одному. Куда, Эфраим, впадают наши слезы?

Эфраим не знает, куда впадают наши слезы и зачем нужны нищие.

Все ответы плохи. Шмуле-Сендер считает, что попрошайки нужны, чтобы у счастливых не зачерствели сердца. Затем, чтобы счастливы не забывали: кто-то в любую минуту может постучаться в их дверь и стуком разбудить от спячки их совесть.

Когда Авнер умрет, Эфраим сделает ему надгробие. Если переживет его, конечно.

Эфраим высечет на могильном камне посох и слезу.

Шмуле-Сендер продолжает расписывать прелести графского камня, но Эфраим его не слушает. Он таращится на Розенталя, как будто видит его впервые, потом, вздохнув, поворачивается к Шмуле-Сендеру и говорит:

– Это все твои новости?

Теперь за Шмуле-Сендером очередь вздыхать. Ну что за настырный старик, этот Эфраим? Как это он унюхал, учуял, что у него, у Шмуле-Сендера, есть еще одна каменная, еще одна могильная весть. Если бы не этот Эфраимов взгляд, который, похоже, булыжник дробит и сквозь толщу земли проникает, Шмуле-Сендер и дальше распространялся бы о графе Завадском и его владениях. Не может же Шмуле-Сендер просто так, с бухты-барахты, рассказать Эфраиму эту страшную, эту препечальную, эту воистину могильную новость. А вдруг враки? Ведь он, Шмуле-Сендер, там, у этого цирка, не был, «Виленский вестник» не читал (из всех языков на свете он знает только еврейский и солдатский русский), ему о покушении на генерал-губернатора поведал Шмерл-Ицик, дальний родственник Фейги; Шмерл-Ицик приторговывает зерном, человек грамотный, дотошный, в Вильно бывает чаще, чем дома. Так вот, Шмуле-Сендеру эту страшную, эту неслыханную новость рассказал он. А

правда это или враки, проверить невозможно, поскольку Шмуле-Сендер в жандармерии не служит, из Вильно газет не выписывает, дальше Россией никогда в жизни не забирался.

Хм! «И это все твои новости?» Другое дело, если бы Шмуле-Сендер там был, стоял рядом с генерал-губернатором или с преступником, если бы хоть в газете своими глазами прочитал: так, мол, и так, Гирш Дудак... сын каменотеса Эфраима Дудака... вчера у входа в цирк ранил генерал-губернатора... А теперь – из чужих уст! Расскажешь Эфраиму, а потом отвечай за свое вранье.

Вдруг и Гирш – не Гирш, а если и Гирш, то не Дудак вовсе, а если Дудак, то не из Литвы, а из Белоруссии. Мало ли Дудаков на белом свете.

Дудаков столько же, сколько их, Лазаревых.

С другой стороны, и смолчать неловко.

Что, если этот преступник Гирш Дудак и впрямь родной сын Эфраима? Гирш-Копейка!

Шмуле-Сендер боится, как бы Эфраим от такой новости замертво не упал. Услышит и рухнет на пол синагоги.

В молельне, конечно, умереть – великая честь, но лучше не достаиваться ее. Но Эфраим и вранья не простит. И будет прав. В самом деле: узнай он вовремя, и на суд успеет, и на похороны, не про нас да будет сказано. В Вильно у Эфраима живет его старший сын Шагна, глядишь, замолвит за Гирша словечко.

И говорить – плохо, и смолчать – плохо. Что за проклятая жизнь? Мог же этот грамотей, этот проныра, этот родственник Фейги Шмерл-Ицик, зерноед, не останавливаться в их местечке. Мог спокойно проехать, промчаться на своей пролетке мимо. Как минуют местечко добрые вести, так могли бы обходить его стороной и дурные.

Шмуле-Сендер жует свои мысли, как корова жвачку, морщит маленький лоб, ни с того ни с сего сдувает с молитвенника пыль, этот звук привлекает внимание нищего, Авнер оборачивается, смотрит на каменотеса, на его могучие плечи, руки, сложенные тележным колесом, и спрашивает:

– Ты когда-нибудь умрешь, Эфраим?

– Нет, – говорит каменотес и смеется.

– Почему?

– Я заплатил ей на сто лет вперед.

– Кому?

– Смерти, – говорит Эфраим, – Кто ей аккуратно платит, того она не трогает.

Шмуле-Сендер вздрагивает, закрывает молитвенник и, не дав вспыхнуть раздору, начинает успокаивать Авнера, убеждает, что придет время, и все умрут, Господь Бог никого не забудет, ибо чего-чего, а смерти – не добра, не богатства – у него полным-полно, смерти хватит на всех: и на должников, и на кредиторов.

– Я хотел бы умереть с тобой в один день, – гундосит Розенталь.

Что за муха его укусила?

– На том свете, Эфраим, мы снова станем молодыми. Ты научишь меня дороги мостить, а я тебя на всякий случай – побираться.

Уши у Шмуле-Сендера от таких разговоров вянут. Подсказал бы Авнер – все-таки бывший бакалейщик! – как Эфраиму эту дурную весть сообщить. Да что с него, с побирушки, взять? Он и на том свете будет просить милостыню, он и там не поумнеет. У него, у Шмуле-Сендера, у самого пять-шесть извилин, не больше. Господь Бог недодал ему, да будет благословенно его имя в веках. Ничего не поделаешь. Не одни же умники нужны. Если Всевышний создал водовозов, то разве они не такое же любимое его творение, как лавочники и ростовщики? И водовозов надо любить и уважать, все ж таки божьи твари.

Так рассуждая, Шмуле-Сендер поднимается с замусоленной синагогальной лавки, потягивается, разминает руки, бросает прощальный взгляд на лиловых львов, застывших на ковчеге завета, на Авнера Розенталя, шепчущего молитву, и выходит во двор.

За ним плетется и Эфраим.

Воздух чист и свеж. И нет на свете ничего слаще – до того он пахуч и прозрачен. Может, только в запорошенной снегами забвения молодости, в незапамятные, не замеченные печалью времена Эфраиму дышалось так легко и жадно. Из всех лакомств в жизни у него, как и у Шмуле-Сендера, осталось только одно – этот воздух, который пьянит, как шелест женского платья перед тем, как вступишь в виноградник и срываешь первую гроздь. Вот, вот, воздух – это виноградник старцев, только без гроздьев, без лозы, но зато с бесплатными и бесплодными облаками, среди которых уже невозможно различить, где облако-женщина и где облако-мужчина.

Хорошо и вместе с тем тревожно. Эфраим не может взять в толк, откуда она взялась, эта тревога, из какой щели выползла, из какого закутка вылезла.

Тревожно на душе и у Шмуле-Сендера.

В такую погоду друг другу только бы что-то ласковое говорить, только бы добрые вести рассказывать, только бы вздыхать о минувших временах и не думать о будущих. Не им, старикам, это будущее принадлежит, не им, каким бы достославным оно ни было. Для кого, для кого, а для них что прошлое, что будущее – один черт. Разве прошлое-детство было сытней и счастливей, чем будущее-юность? Разве прошлое-юность подарило им больше светлых дней, чем будущее-зрелость? Как жили в бедности, так и живут. Как проклинали свою жизнь, так и проклинают. Потому-то ему, Шмуле-Сендеру, не хочется печалить своего друга. Печали и так достаточно. Печали никогда не бывает мало. Может, подождать с рассказом? Может, в местечко забредет скоморох Эзра. Придет и все поведаст отцу. Он-то, Эзра, газеты почитывает. Он-то точно знает, какой Дудак стрелял в генерал-губернатора, взяли ли брата Гирша под стражу или нет.

Когда сын приносит отцу дурную весть, старому ее и перенести легче. Шмуле-Сендер по себе знает. Прошлым летом приехала из Олиты жена брата Брайне и вместо «Здравствуйте» сказала сквозь слезы: «Шмуле-Сендер... брат ваш... муж мой Калман умер». Конечно, лучше, когда дурную весть сообщает родственник. Но Эзра в местечко что-то носу не кажет. В последний приезд повздорил с отцом, Эфраим чуть его не выгнал – не из-за шуток-прибауток Эзры, не из-за его вечных кочевий, а из-за девок.

– Ты чего их сюда возишь? – озлился Эфраим. – Дом отца – не дом терпимости.

– Может, и тебе какую-нибудь шатеночку привезти? – пошутил Эзра. – Ты еще, наверно, можешь...

Эфраим набросился на сына с кулаками. Спасибо Авнеру Розенталю – развел их.

Как же быть, думает Шмуле-Сендер.

Как сделать так, пощипывает он пейсы, как бы сделать так, чтобы с одной стороны сказать Эфраиму, а с другой стороны – ничего не сказать. Сказать и не сказать в одно и то же время.

Шмуле-Сендер воздевает очи к небу, к постоянному своему советчику, и постоянный его советчик, покровитель всех сотворенных им водовозов, подсказывает ему выход.

Шмуле-Сендер кивает легкой и гладкой, как куриное яйцо, головой, заглатывает для смелости упругий ком воздуха и, благословясь, начинает:

– Эфраим! Что бы ты, скажи на милость, сказал, если бы в один прекрасный день... ну такой, как сегодня... пришел бы я к тебе и рассказал, что в Вильно... ты только слушай, слушай!, что в Вильно губернатора – чик!

И Шмуле-Сендер выстрелил пальцем себе в кадык.

– Я бы сказал: врешь, Шмуле-Сендер.

– А если бы тебе рассказал не я... другой... корчмарь Ешуа или лавочник Нафтали Спивак?

– Я бы сказал: да простит Господь генерал-губернатору все его грехи и самый тяжкий из них – ненависть к нашему племени.

– И все?

– Ты что, хотел, чтобы я над ним еще слезы лил?

– Лил бы, не лил... Но неужели тебе совсем неинтересно, как его порешили или ранили?

– А мне все равно.

Шмуле-Сендер снова возводит очи к небу, и снова его постоянный советчик что-то шепчет ему на ухо.

– Если бы меня убили... тебя... Авнера Розенталя, и впрямь всем было бы все равно. Подумаешь – каменотеса ухлопали, водовоза уложили, нищего уколошили! Но вот когда укладывают губернатора, тут, Эфраим, все имеет значение: и как, и где, и кто?

Надо бы козу подоить, думает Эфраим, устав от трескотни Шмуле-Сендера. Надо бы еще раз жениться... Когда женщина появится в доме, Эзра перестанет приводить своих...

Шмуле-Сендер обижен – на своего постоянного советчика в небе, на своего друга на земле Эфраима, на самого себя. Рассказывает, рассказывает и до конца рассказать не может.

Обида подстегивает его тлеющую решимость.

– А что бы ты, Эфраим, сердце мое, сказал, если бы этого губернатора ухлопал твой знакомый?

– Кроме тебя и Авнера, у меня знакомых нет.

– Ну, не знакомый, сердце мое, ну близкий... очень близкий тебе человек...

Господи, наконец подобрался вплотную, Шмуле-Сендер вытирает испарину на лбу и смотрит на Эфраима, как прирученная ворона: диковато и в то же время пристально.

– И близких у меня нет, – говорит каменотес.

– А дети?

– Дети – это не близкие. Дети – это далекие.

Эфраиму такое признание дается с трудом. Но кому пожалуешься на свою судьбу, с кем поделишься горестями, если не со Шмуле-Сендером. Шмуле-Сендер – его последнее убежище, его последнее утешение. Он в доме Шмуле-Сендера и столуется, и порой, когда хворают, отлеживается. Жена водовоза – Фейга была подругой Гинде. Теперь, как шутит Шмуле-Сендер, у них одна жена на двоих. Вот только птенцов они уже не высилят – ни Дудаков, ни Лазаревых.

– Есть у тебя близкие, – настаивает Шмуле-Сендер. – Эзра... Шахна... Гирш... Гирш, – повторяет он.

– Не хочешь ли ты сказать, что все они стреляли в генерал-губернатора.

– Я не говорю: все, – скороговоркой отвечает Шмуле-Сендер.

– Шахна?

Нет, чтобы Шмуле-Сендеру ответить: Шахна – и все превратить в шутку.

– Не Шахна, а Гирш. Гиршке-Копейка.

– Гиршке убил губернатора? Этот сморчок, этот лоботряс, этот неслух убил человека?

Все вокруг дрожит от Эфраимова вопроса, и сам вопрос дрожит, кружится в воздухе, жужжит мохнатым шмелем.

– Разве я сказал: убил... Я сказал: ранил... в руку... и в ногу...

– Жаль.

– Кого?

– Обоих.

– Это все еще может оказаться брехней.

Шмуде-Сендер пытается все свалить на родственника Фейги Шмерла-Ицика, зерноеда (у них в роду – все вралей и недотепы), остановившегося в местечке не для того, чтобы погостить у родни, а чтобы помочиться за углом. Вот и помочился дурной вестью, и струйка от нее потекла во все стороны.

– Я вчера сон видел, – говорит Эфраим. – Лежу, значит, в постели, заросший, старый... лет мне, пожалуй, еще больше, чем сейчас... и вдруг ко мне подходит Гиршке, малюсенький, в коротких штанишках, в фартуке, в руках дратва, шило... Я смотрю на него и спрашиваю: «Ты почему, Гиршеле, сердце мое, такой махонький, тебе же уже за тридцать?» – «А я, – говорит, – не расту». – «Все растут, ты один каким крохой был, таким и остался». – «У меня, отец, только душа растет, в груди не умещается, все наружу лезет. Я заталкиваю ее обратно, а она вылезает, и все ее топчут, топчут...» Понимаешь, Шмуде-Сендер?

– Ага.

Шмуде-Сендер слушает его, затаив дыхание. Теперь уже не один шмель, а целый рой кружится над его головой, которая еще совсем недавно была гладкой и легкой, как яйцо наседки.

– А я ему говорю: «Зачем она тебе, твоя душа?»

– А он?

– А он только улыбается.

Эфраим замолкает и, как Шмуде-Сендеру кажется, вытирает глаза. Может, соринка попала, а может, и слеза брызнула ненароком.

– А про графский камень я правду говорил. Попроси у Юдла Крапивникова.

– Спасибо, – говорит Эфраим.

– Лежит себе без дела... Вот я и подумал: чем не памятник.

Шмуде-Сендер вызывается тотчас свою лошадь запрячь и поехать с Эфраимом в имение графа Завадского. Там экономом служит Юдл Крапивников. Может, задарма отдаст. Ведь он, Эфраим, и для его, Крапивникова, родителей – отца-аптекаря и матери-повитухи – такие надгробия на россиенском кладбище сделал! Дай бог каждому еврею такие!

Графу Завадскому камень этот не нужен, графов хоронят в Вильно, у них там фамильный склеп и часовня, а покуда они живы, то по заграницам мотаются, в Париже сидят, пьют, гуляют, денежки транжируют. Эх, если бы и нам, Эфраим, такую жизнь! Ешь с утра до вечера всякие лакомства, пей напитки, с барышнями шашни води, а тут, в Литве, за тридевять земель на тебя спину гнут; какой-нибудь Юдл Крапивников твои доходы подсчитывает и складывает в кошелек, а те, что не складывает, в Париж барину шлет.

– У меня коза не доена, – говорит Эфраим.

– Эфраим! Не гневи бога! Такое случилось, а ты – коза не доена!

Эфраиму хочется побыть одному. Забраться куда-нибудь в угол, сесть на корточки и, не вставая, силой своей тоски, своих взбудораженных мыслей вызвать из тьмы забвения, из виленской сапожной мастерской (Шахна рассказывал, будто Гирш работает на Русской улице сапожником), из виленской тюрьмы (если он туда попал) маленького мальчика по прозвищу Гиршке-Копейка в коротких полотняных штанишках, со смешной стрижкой (мать Двойре всегда подстригала его овечьими ножницами) – раскрыть перед ним свои широкие, теплые, как дверь бани, объятия и прижаться к нему небритой щекой; небритой щекой к его огромной душе, которую все топчут и топчут и которую он никак не может спрятать.

Шмуде-Сендер, хоть и не быстр умом, угадывает желание Эфраима, условливается с ним о поездке в имение Завадского (надо успеть до возвращения графа из Парижа: когда тот вернется, у Юдла Крапивникова снега среди зимы не выпросишь), переминается с ноги на ногу, ждет, но Эфраим не спешит с ним прощаться. Горе у него, горе! Гиршке-Копейку за то, что стрелял в губернатора, по головке не погладят. Власти и смиренных евреев по головке не гладят. Гиршке-Копейка, того и гляди, еще схлопочет пулю или виселицу. Для Эфраима все

они – и Гиршке-Копейка, и Шахна (к нему так и не прилипло ни одно прозвище), и Церта – давно как бы на каторге. Сколько лет прошло, никто, кроме Эзры, к отцу не приезжал.

Да и в Эзре какой прок? Шалтай-болтай, чучело огородное, шут гороховый!

Водовоз прощается с Эфраимом, качает гладкой и легкой, как яйцо наседки, головой и сворачивает за угол.

Коза встречает Эфраима радостно-укоризненным блеянием. Подходит к нему, тычется белой мордой в живот, и Эфраим треплет ее своей могучей рукой и прячет от нее глаза.

Нет, он ей ничего про Гиршке-Копейку не скажет. Хоть Гиршке и верхом на ней ездил, и за хвост таскал, и чернилами пытался на ее белой шерсти свое имя и имя дочки рабби Авиэзера вывести, коза его любит.

Она всех Эфраимовых детей любит.

У всех козы как козы. А у него, у Эфраима, не животное, а умница, пророчица, ревнивая хозяйка. Как только Церта сбежала со своим фармазоном из дому, Эфраим пришел в хлев и сказал:

– Будь мне, цигеле (козочка), дочерью, а я буду тебе отцом.

Коза служила Эфраиму верой и правдой, заменяя всех – живых, покинувших его по своей воле, и мертвых, оставивших его по воле смерти. Животина то взглянет на него глазами покойной Леи, третьей и самой любимой его жены, то бросится к нему с такой доверчивостью, как поскребыш Эзра, то прижмется к нему теплым боком, как Шахна.

Эфраим с козой и в гости ходит – боится, а вдруг и ее, бесценную, какой-нибудь фармазон сманит или голодный волк задерет (а волков в Россиенском уезде уйма, рыщут по лесу и воют на луну).

Однажды коза его и от угара спасла – уткнулась ему, уже отравленному, в грудь и давай будить. И разбудила. Из благодарности повел он ее к рабби Авиэзеру, чтобы мудрейший из мудрых рассудил: обыкновенная она или чудотворная, есть у нее душа или нет.

Рабби Авиэзера и более простые вопросы повергали в уныние.

Приход Эфраима с козой, пусть не шелудивой, пусть белой, как пасхальная скатерть, и вовсе озадачил его. Еще бы! Что, если со всей округи к нему приволокут всех коз, всех овец, всех коров и начнут спрашивать. У Господа Бога ответов нет. Откуда же им взяться в избе Авиэзера?

Пастырь велел Эфраиму прийти через неделю, нет, через две недели, но без козы и, когда тот явился, спросил, хочет ли он, Эфраим, чтобы его животное была обыкновенной или чудотворной, с душой или без оной. Эфраим нимало не смутился, ответив, что хочет, чтобы коза была обыкновенная (иначе ее и доить-то боязно!), но желательно с душой. На что рабби Авиэзер, поглаживая бороду – средоточие своей святости и мудрости, – сказал, что первая половина его просьбы легко выполнима, а вот со второй – дело обстоит сложнее потому, что ни в Мишне, ни в Гемаре, ни в других священных книгах ничего не говорится о наличии души у парнокопытных.

– Подождем, пока она умрет. Тогда и поглядим, отлетит у нее душа или нет.

– А как она, рабби, выглядит, козья душа? – спросил Эфраим.

– Как и наша... Белая, как молоко, и легкая, как гусиный пух.

– Я слышу, как она со мной по утрам разговаривает. Дою ее и слышу.

– Козу?

– Ее душу.

– Души разговаривают только с душами, – сказал рабби Авиэзер. Господи, чтобы каменотес задавал такие каверзные вопросы!

Эфраим доит козу и слышит, как разговаривает ее душа:

– Не горюй, – говорит она. – Ты что, болтуна Шмуле-Сендера не знаешь? Он всегда то преувеличивает, то преуменьшает. Твои дети не могут стрелять в губернаторов, потому

что и они, губернаторы, люди. Твой Гирш в Вильно подметки приколачивает, а не ходит, как разбойник с ружьем.

Душа, ловит себя на мысли Эфраим. А о подметках знает. А Шмуде-Сендер знает о подметках, а о душе ничегошеньки.

Струйка козьего молока, как вымощенная белым булыжником дорога, соединяет Эфраима с Вильно, где сапожничают его средний сын Гирш – Гиршке-Копейка, с Киевом, где белошвейкой работает Церта, с губернаторским домом, где бывает ученый еврей Шахна, с любым местечком Литвы и Польши, где смешит честной народ своими куплетами поскребыш Эзра.

Она выводит Эфраима к ним через дремучие леса, через полноводные реки, через отчаянье и сомнения.

Теки, струйка, теки! Дотеки до порога Гирша, расспроси его и с доброй вестью вернись обратно сюда, в местечко!

Журчание молока затихает, и откуда-то, из заваленных буреломом старости глубин, снова доносится отрывистый лай взбесившейся собаки, и Эфраим вздрагивает.

Неужто смерть, собака Господа, взялась не только за его жен, но и за детей?

Эфраим возвращается с подойником в дом, ставит его на стол, роется в шкафу, достает оттуда четыре кружки, наливает в каждую молока и говорит:

– Пейте, дети!

И слышит хлюпанье, слышит шмыганье носов, причмокивание.

– Пей, Шахна!

– Пей, Эзра!

– Пей, Церта!

– Пей, Гирш!

В закрытые глаза Эфраима, как в притемненную горницу, входит Гирш, косая сажень в плечах, с растрепанной рыжей чуприной, в льняной рубахе нараспашку. По лицу у него струится кровь, и Двойре вскрикивает от ужаса.

– Подрался?

С несуществующими (как бы) детьми такая же морока, как с существующими. И за ними, несуществующими, нужен глаз да глаз, и они требуют любви и внимания, вот только уехать они никогда не могут – нив Вильно, ни в Киев, ни в Петербург, не могут бросить тебя одного или без твоего согласия поднять на кого-то руку – будь то местечковый пострел или виленский губернатор. Несуществующее всегда с тобой. Оно не покидает тебя ни на один день, до самого смертного часа. Только оно и наполняет дом, только оно и поддерживает Эфраима. Без него, может статься, он давно бы умер. И это не забава, не игра, не развлечение на старости лет. Разве жизнь – не смесь несуществующего с неосуществленным? Разве не состоит она из снов, видений, из долгих и напрасных ожиданий? Состоит. Потому что человек всегда ропщет на то, чем обладает, и боготворит то, что у него отняли, с чем он расстался навеки.

Как послушно сидят они за столом, его дети, – и старший сын Шахна, и средний сын Гирш, и поскребыш Эзра, и Церта!

Как жадно пьют козье молоко!

Какой благодарностью светятся их глаза.

Существующие, они всегда врозь, несуществующие всегда вместе.

Какого черта уехали они в город? Почему он, Эфраим, столько лет прожил на одном месте, в этом захолустье, в этой забытой богом дыре и ни разу не попытался искать счастье на стороне? Такой умелец, как он, везде нашел бы работу. Скотопромышленник герр Вейман, к которому он подрядился на лето обновлять надгробие, его из Тильзита отпускать не хотел.

Что его удержало?

Любовь к Лее?

Необразованность? Темнота?

Да не такой уж он невежда! Читал и Мишну, и Гемару. Таскал не только камни земли, но и камни неба – мысли.

Стоит ли отсюда уезжать, чтобы где-нибудь в Киеве шить, или в Белостоке паясничать в каком-нибудь промозглом сарае, или стрелять в Вильно в генерал-губернатора?

Какая сила выманивает их из родного гнезда?

Что будет, если все еврейские дети покинут своих родителей и ринутся в город искать счастья?

Кто будет сторожить кладбища?

Кто будет задавать рабби Авиэзеру вопросы?

– Пей, Гирш!

Эфраим прикрывает кружку шершавой ладонью, как будто греет молоко или стережет его от мух. Он сидит, по-прежнему зажмурившись, и в каменоломне его мыслей мало-помалу стихает гром кирки. Старика одолевает дремота, зачеркивающая все его заботы, он не замечает, как открывается дверь, как шумно, с какими-то вывертами, пританцовывая и напевая, входит поскребыш Эзра, любимец Леи. Он отвешивает отцу поклон, пропускает невесту откуда взявшуюся девицу в длинном платье, в шляпе с причудливым пером.

– Отец! – зовет Эзра.

Эфраим спит. Эзра и его девица опускаются на лавку, придвигают две кружки и, любовно глядя друг на друга, маленькими страстными глоточками принимают пить молоко.

Эфраим спит. Ладонь его покоится на кружке, предназначенной среднему сыну – Гиршу, Гиршке-Копейке.

Поскребыш Эзра смотрит на отца с недоумением и жалостью, наклоняет кружку Церты и, видно, желая растормошить Эфраима, льет ему за шиворот теплую, белую, как сон, жидкость.

Молоко струится по загривку Эфраима вниз, по спине, Эфраим ежится, просыпается от щекотки, и перо со шляпы девицы вонзается ему в глаза, как осколок стекла, и старик снова зажмуривается, уверенный, что все это ему снится.

Но это не сон, это явь. Эфраим вскакивает из-за стола, почему-то отодвигает ситцевую, давно не стиранную занавеску, в горницу врывается дневной свет, всамделишный, неистощимый, и при этом благостном свете поскребыш Эзра кажется еще родней, еще ближе, встреча с ним – еще негаданней, еще желанней, старик глазеет на него, любит его, чмокает от удовольствия губами (красив, негодяй, красив!), девицы в шляпе с пером больше не существует, есть только перо, без шляпы, без девицы, само по себе, красочное, затейливое – никогда в доме Эфраима не цвел такой диковинный, такой роскошный цветок который – надо же! – и на морозе не вянет.

Как и положено скомороху, Эзра все время улыбается. Улыбка соперничает с дневным светом, с ярким пером на шляпе, с радостным, почти праздничным настроением отца.

В Эфраиме все ликует, как будто Эзра своим появлением отменил, сделал несостоятельным и неправдоподобным все дурное – все страшные вести, от которых подкашиваются ноги, всю старость, от которой в груди прорастает чертополох страха, все одиночество, которое даже коза-пророчица скрасить не в силах.

– Не ждал? – все еще улыбается Эзра.

– Если честно – нет.

Не ждал. Только от людей слышал, будто поскребыш Эзра выступает на свадьбах, на вечеринках, танцует, поет, изображает то немцев, то испанцев, а то и власть предержащих – станowych, приставов, казаков, урядников.

– Надолго пожаловал? – Эфраим косится на девицу.

– На одну ночь.

Конечно, на одну ночь. Он всегда заезжает на одну ночь. Покрутится в доме, позубоскалит, забежит в корчму, опрокинет стаканчик (и чего он к этой браге пристрастился?), переночует и ускачет, улетит, упорхнет, как бабочка-однодневка. Жди теперь еще год, еще два, пока снова не объявится.

Может, и Эзра с дурной вестью приехал?

Хорошо еще, если с той же, что и этот родственник Фейги Шмерл-Ицик, зерноед.

А что, если с другой?

Дурные вести плодятся, как вши.

– Знакомся, отец... Данута.

Что, что? Данута? Что-то он, Эфраим, таких еврейских имен не слыхивал. Хотя теперь все перемешалось. Шмуле-Сендер, например, говорит, что его внучков – детей белого счастливого Берла, зовут в Америке Джордж и Ева.

– Мы вместе с ней танцуем и поем, – говорит Эзра.

Эфраим знает, чем кончаются такие песни и танцы. От них на свет байстрюки рождаются.

Девушка кивает головой, перо на шляпке колышется, и теперь оно уже не кажется Эфраиму причудливым цветком, который и на морозе не вянет.

Эфраим боится расспрашивать сына про эту Дануту. Спросишь и, еще не дай бог, услышишь, что в костеле венчались. А ведь ему, этому нечестивцу, этому скомороху, кого только не сватали! Дочь самого рабби Авиэзера! Женился бы и горя не знал, не мотался бы по постоянным дворам да по ярмаркам со всякими Данутами, не пристрастился бы к водке. Не понравилась, видите ли, Нехама. Скучна, вечно с кислой миной... и потом ее уже Гиршу сватали... Ну и что, что сватали? Ну и что, что мина у нее кислая. Зато приданое сладкое.

– Я, отец, не могу без любви.

– А без денег можешь?

И то сказать – зачем ему, бродяге, перекаати-поле, деньги? Профинтит, растрянжирит, прокутит в корчме с какой-нибудь податливой девицей, и снова за свои куплеты, за свои стишки, за свои скабрезные побасенки. Если хорошенько пораскинуть мозгами, то он, Эзра, такой же бедняк, как местечковый нищий Авнер Розенталь, только тот не строит рожи, не кривляется, не поет на площади и получает свое подаяние тихо и без помощи девиц. Конечно, народ слушает Эзру и со смеху помирает, народ в ладоши хлопает, народ охает от удовольствия. Так ведь народ непривередлив, как воробей. Народ всегда трет глаза, но ничего не видит. Уж если тебе так хочется потешать его, то лучше походи в сваты. Сваты и обуты, и одеты, и крыша у них над головой. А у этих, скоморохов, пересмешников, певцов, что? Голая задница! Прореха на прорехе! И в кого он только такой уродился. Мать Лея была серьезной женщиной, сама не шутила и чужих шуток не любила. Да и он, Эфраим, если и засмеется, то только в самый веселый еврейский праздник Пурим. Когда праздник, не грех и посмеяться. Только уж больно редки они, эти веселые еврейские праздники. Столько лет – да что там лет – столетия протекли на земле, а праздников веселых у евреев всего ничего. Потому, наверное, у Эзры такая тяга к чужим праздникам, к чужому веселью.

Господи, думает старик Эфраим, как бы я был счастлив, если бы ты даровал мне хоть одного сына глухонемого или калеку. Жил бы он со мной со дня рождения до смерти, и ни в чем бы я тебя не упрекал. Зол ты на нас, Господи! А все оттого, что сам беден. Ты при нас, в дни нашей молодости, богаче был, чем при них, при наших детях. Ты просишь у них подаяния-послушания, сыновней любви, добродетели, а что они тебе дают? Стрельбу в губернаторов, кривлянье на площадях и в коровьих хлевах, отречение от родителей и род-

ного дома. Если дать им волю, они и вовсе превратят тебя, Господи, в нищего – в Авнера Розенталя, погорельца.

Эфраим чувствует, как в нем подпольной мышью шебуршит неприязнь к сыну, к его странной и молчаливой подруге – радость встречи отравлена, словно в медовый напиток взяли и подсыпали какой-нибудь отравы. Грех так думать, но уж милей одиночество, беседы с козой-пророчицей, с преданными друзьями Шмеле-Сендером и нищим Авнером, чем с собственным чадом, которое всякий раз без стеснения приводит в родительский дом кого попало. Еще, чего доброго, потребует, чтобы Эфраим уступил ему кровать, на которой он, поскребыш Эзра, был зачат, на которой – прости и помилуй, Господи, – они когда-то лютовали с Леей, ту самую кровать, которая и сегодня, когда ночи такие беспросветные и Эфраим так бесстыдно стар, нет-нет да обернется облаком, воздушной волной, выбрасывающей его из возраста, из угасшего тела, из черного отчаянья и несущей его в рай, к вечному блаженству, оплаченному изнурительным трудом: за каждый миг любви – по камню на местечковой мостовой, по булыжнику на тракте.

Эзру настораживает молчание отца. Данута поправляет шляпу, раздувает, как гончая, ноздри, картинно подбоченивается, смотрит на старика, как на пугало.

– Ты чем-то, отец, недоволен?

Эфраим молчит, сверлит поскребыша Эзру и Дануту недобрым взглядом, потом оборачивается и спрашивает:

– Ты что-нибудь про Гирша слышал?

Поскребыш Эзра медлит с ответом. Ему не хочется расстраивать отца. Младший брат еще в Жослах прочитал про среднего брата в газете. Попался бедняга! Теперь ему худо будет, худо. Но Эзра ничего не скажет старику. Вот про Шахну – пожалуйста! Эзра знает, что Шахна работает в какой-то важной канцелярии, что денег у него – куры не клюют. Но Эзру не интересуют ни канцелярии, ни большие деньги. Было бы только на похлебку, и ладно. Эзра – человек другого пошиба. Он – бродяга, скоморох, акробат, фокусник. Сегодня он – царь Давид, а завтра – маран, мученик, изгнанник. Сегодня – храбрый Бар-Кохба, а завтра – египетский фараон, не отпускающий на родину детей израилевых. В мире Эзры нет ни губернаторов, ни жандармов, а только зрители. Алле оп! *Зрители!* А у зрителей только один царь, один кумир, один владыка – тот, кто их забавляет, кто помогает им забыться и забыть. Алле оп! Забыть о том, кто они – счастливые или несчастные, гонимые или любимые, литовцы или русские, евреи или поляки. Алле оп! А для того чтобы люди забыли о сегодняшнем дне, о своих сегодняшних язвах, есть одно-единственное средство – вранье, потешное, душераздирающее, бесконечное, безудержное вранье. От вранья люди добреют, от правды ожесточаются. От вранья на душе праздник, от правды в глазах – ночь и мрак. Правда еще никого не осчастливила в жизни, а вранье на время отдаляет несчастья. Пусть на миг, пусть на час, пусть на один день. Зачем уставшим от правды, измучившимся от сегодняшних язв говорить правду, а значит, прививать новую язву, зачем?

Эзра понимает, о чем хочет узнать отец. Видно, и сюда, до Мишкине, уже докатилась печальная весть о Гирше.

Но Эзра не для этого приехал, чтобы пересказывать ему то, о чем пишут эти скучные, эти поносные, эти одинаковые, как коровьи лепешки, газеты.

Гирш – дурак! Стрелять в губернаторов – это все равно что палить в помойных мух.

Вечные мухи над вечными помоями!

Уложишь одного губернатора – прилетит с помойки другой.

Сейчас в каждой газете встретишь их фамилию: «Дудак... Допрос Дудака...»

Одно счастье, что в деревнях и местечках все знают его как Эзру. Просто Эзра, без всяких добавлений. «Выступает Эзра! Песни, сценки, фокусы, анекдоты!»

А что, если бы зрители знали его фамилию?

Со всех сторон посыпались бы неприятные вопросы:

– Послушайте! Гирш Дудак – ваш брат?

– А правда, что он стрелял в генерал-губернатора отравленными пулями?

– А дети у него есть?

– А как вы думаете – то, что он его не убил, а ранил, для евреев хуже или лучше?

Уж лучше в Российской империи состоять в родстве с раненым губернатором, чем со здоровым арестантом. Какого черта братец вляпался в это шумное, в это неприбыльное, в это пропащее дело?

– Ты что-нибудь о Гирше слышал? – теперь уже Эзру спрашивают только глаза Эфраима.

Эзра медлит с ответом. Воздух в доме накаляется до предела, уже дымится перо на шляпе у Дануты – спутницы (спутницы ли?) Эзры, багровеют щеки Эфраима, да и сын-поскребыш тыльной стороной ладони смахивает пот – соленый осадок его раздумий.

– Братья сами по себе, я – сам по себе, – увиливает от ответа Эзра.

Эфраим кричит от недовольства. Чтобы так ответить, не надо быть ни братом, ни сватом. Эзра что-то знает, но скрывает от него. Все скрывают. Даже Шмуле-Сендер. Слабые люди, они думают, будто и он, Эфраим, такой же, как они.

– Лучше я тебе, отец, байку расскажу.

Эзра уже жалеет, что послушался Дануты и заехал к старику. Могли проехать мимо, как проезжали десятки раз, могли заночевать в заезжем доме (в Видукле за ночлег берут копейки). Но Данута заупрямилась: хочу видеть твоего отца, ты столько о нем рассказывал. И Эзра уступил.

Желая во что бы то ни стало избежать вопросов отца о Гирше, угодившем за решетку, поскребыш Эзра принимается рассказывать одну из своих баек, которыми он тешит честной народ на ярмарочных площадях и в хлевах.

– Жили-были два соседа, – начинает Эзра. – Один бедный, другой богатый. Пришел бедный к богатому и говорит...

– Ты что-нибудь слышал про Гирша? – вставляет Эфраим.

– И говорит: «Сосед, одолжи мне серебряную ложечку. К моей Брайне жених приезжает. Хочу, чтобы он помешивал чай не оловянной ложечкой, а серебряной».

– Говорят, он стрелял в генерал-губернатора.

– Через две недели бедный возвращает богатому серебряную ложечку с такими словами: «Больше одолжаться не буду. Она родила...» – «Кто – она?» – спрашивает богатый сосед. – «Серебряная ложечка другую ложечку родила. Теперь у меня, сосед, будет своя». Выслушал его богатый и говорит: «А может, тебе серебряная подставка нужна? Только ты вернешь мне две – ту, что я тебе одалживаю, и ту, что родится. Ладно?» – «Ладно». Богатый ждет, когда бедный принесет две серебряные подставки.

– И я жду, Эзра, – говорит Эфраим.

– Наконец бедный прибегает в слезах, бьет себя кулаком в грудь и приговаривает: «Горе! Горе, сосед! Умерла!» – «Твоя дочь умерла?» – «Нет... Твоя серебряная подставка... умерла при родах...» – «Ты что, дурак, городишь? Слыханное ли дело, чтобы серебряные подставки умирали?» – «А в этот вздор, который тебе выгоду сулил, ты же верил, почему же ты не веришь в правду, которая принесет тебе убыток?»

– Все? – злится Эфраим.

– Все.

Смешно! Смешно! Очень смешно! И то, что ложечка ложечку родила, и то, что серебряная подставка скончалась при родах, и то, что твой брат Гирш вместо того, чтобы сучить дратву и подбивать набойки, стрелял в губернатора, и то, что ты не дочку рабби Авиэзера, а нееврейку в дом привел (сразу видно – христианка, еврейку если увидишь с пером, то только

с куриным), и то, что твой отец, Эфраим Дудак, до сих пор жив и что, кроме козы, он никому на свете не нужен. Смешно! Право слово, смешно.

Только почему-то плакать хочется. Да вот беда – Эфраим плакать не умеет. Даже когда Лею, любимицу, третью свою жену, в яму опускал, ни одной слезы не обронил.

У камня научился. Камень не плачет. А ведь и ему, камню, больно. Ох, как больно – кирка пощады не знает, молот неласков; ложится камень в грязь, засыпает в ней, как в пуховой постели, но еще долго стонет.

Не так ли он, Эфраим, будет всю ночь стонать и думать о своих детях – самых тяжелых на свете камнях.

У Эзры, конечно, сейчас не отец на уме, не брат Гирш, а вот эта Данута с пером на шляпе. Ну что их так к ним, к этим чужим перьям, тянет? Неужто Бог христианкам меду переложил, а дочерям израилевым недодал? Что будет, если все Дудаки, Розентали, Лазареки переженятся на женщинах другой веры? Род еврейский прекратит свое существование. Следа от него не останется. Текла река, вливалась, как все реки, в море – в человечество, и вдруг высохла, и имя ее забылось.

Что стрельба в губернаторов, что женитьба на Данутах – блажь, вредная блажь, думает Эфраим, и не может оторвать глаз от девицы с пером на шляпе. Хороша, чертовка!

– Хочешь, отец, я покажу тебе фокус!

Эзра подмигивает Дануте, подруга вскидывает брови, кокет-либо поводит плечом (ничего не скажешь: хороша, чертовка, хороша!), и в изгибе ее бровей, в повороте ее плеча столько томности и искушения, столько манящей, завораживающей распушенности, что Эфраим начинает невольно сопеть носом, к горлу подступает ком – греховный ком воспоминаний, умаляющих его злость и множащих его терпимость. Ему ли корить сына? Разве он, Эфраим, не заглядывался на христианок, не тонул в голубизне их глаз, не разгребал (в мыслях) солому их волос? Разве он сам не был и необуздан, и ненасытен? Порой ему казалось, что силы и семени у него не на одну женщину, а на целое стадо, но он постом и молитвой гасил свою страсть и пылкость. А когда пост и молитва не помогали, отправлялся в баню и, к удивлению банщика Авессалома, хлестал себя березовым веником до полного изнеможения.

– В одно ухо воду налью, а Данута ее из другого выведет, – говорит Эзра.

Он направляется в сени, к кадке с водой, зачерпывает полную кружку, ту самую, где еще недавно белело молоко, и командует:

– Данусенька! Проще! (Прошу!)

Данусенька принимает из рук Эзры кружку с водой, Эзра заученно ковыряет в ухе, как бы готовя для жидкости место, а Эфраим, одеревенев, следит за его прытким пальцем с дешевым перстнем.

– Фокус-марокус!

Эфраим смотрит на сына, и вдруг из скомороха, ярмарочного затейника он снова превращается в маленького веснушчатого мальчика с рыжими волосами. Мальчик жмется к отцу и слезно просит, чтобы тот взял его с собой в синагогу, разрешил ему, как в Судный день – Иом-кипур, постоять у амвона и подышать не плесенью, не гнилью, не испражнениями, плывущими над их домом, а благовонием святости. Фокус-марокус!

Теперь – в воспоминаниях Эфраима! – Эзра стоит не с Данутой рядом, а с рабби Ури, пастырь читает проповедь, и слова ее, как молочный дождь, падают на пострела, заливают его сперва до пояса, потом все выше и выше, до самой кудрявой головки; маленький Эзра весь в брызгах молока, весь в торжественной нестерпимой белизне, весь в сиянии пламеняющих, трепыхающихся от каждого вздоха свечей, и доброта, и смирение, влившись в его правое ухо, не вытекают из левого, а белят его кудри, его одежду, его душу. Белым-белым возвращается Эзра домой, и от его светящейся белизны преображается все вокруг: и порог,

и заплесневелые стены, и потолок, и половицы, и белый праздник длится до белой ночи и от белой ночи до белого утра.

Фокус-марокус! Старая байка!

Маленький мальчик с кудрявыми волосами спрашивает:

– Кто сделал амвон?

– Столяр, – говорит Эфраим.

– А кто сделал столяра?

– Его мама.

– А кто сделал его маму?

– Ее мама.

– А ее маму?

– Бог, – не выдерживает Эфраим.

– А кто сделал Бога?

– Бога никто не сделал.

– Как же так? Если Бога никто не сделал, кто же сделал столяра и его маму? Бог, наверно, сам себя сделал для всех нас, – говорит маленький мальчик с кудрявыми рыжими волосами.

Фокус-марокус!

Старая байка!

Эфраим смотрит на дешевый перстень Эзры, и его сусальное сияние, как полыхание свечей в молельне, растет, увеличивается до размеров обруча, колеса, и Эфраим прыгает в него, зажмурившись, закружившись, и откуда-то из пустоты восходят к нему его молодость и детство его младшего сына-поскребыша Эзры, одолженного у кого-то (у кого?), как серебряная ложечка, от которой родится вторая, третья...

Та, которую Эзра зовет Данусенькой, смеется, что-то шепчет напарнику на ухо, размазывая на ладони капли воды и колупая пальцем в Эзрином ухе, и в ее шепоте, как в ворковании ночной птицы, Эфраим слышит зов истосковавшейся плоти.

Фокус-марокус!

Старая байка!

Сейчас они уйдут отсюда, думает Эфраим, поднимутся на чердак, где до сих пор стоит кровать Церты, разденутся и, как положено самцу и самке, сплетутся в один тугий неразрывный клубень, и эта их перевитость, как и их глухое постанывание, будут тревожить Эфраима, как пятьдесят лет тому назад, не давая ни на чем другом сосредоточиться или уснуть.

Как бы предчувствуя недовольство отца, поскребыш Эзра принимается набивать Данусеньке цену. Она – Данута – дочь польского офицера, участвовавшего в мятеже шестьдесят третьего года и сосланного в Сибирь, дворянка, говорит по-еврейски как прирожденная еврейка и даже умеет печь кихелех.

– Кихелех – повторяет Эфраим.

– Кихелех, – полным страсти и призывное™ голосом произносит осмелевшая Данута и замолкает.

– Их тоже бьют. Вон их сколько в мятеж полегло, – задабривает отца Эзра.

Что нам до польских офицеров, до их дочек, умеющих печь кихелех, до мятежей. У нас, Эзра, свои мятежи. Тихие, без сверкания сабель, но сколько уже крови пролито, сколько крови!

И снова в памяти Эфраима всплывает Гирш – Гиршке-Копейка, его средний сын. Уж лучше бы он сюда с какой-нибудь кралей явился, чем проливать кровь. Кровью зло не искоренишь. Зло, как и добро, – с мясом и костями. Злу тоже больно. Разве может тот, кто другим причиняет боль, спасти мир от греха и порока?

Темнеет. Вечерние сумерки висят клочьями, как шерсть у пегой собаки.

Все заметней чадит в горнице нетерпение Дануты и Эзры.

Сейчас они попрощаются с Эфраимом, поднимутся на чердак, лягут в Цертину постель, переспят и утром, как только займется заря, отправятся в другое местечко, где будут петь, плясать, рассказывать про серебряные ложечки и подставки, вливать себе воду в правое ухо и выковыривать из левого нужду и бедность, и до следующего появления Эзры в родительском доме пройдет еще год, а если Эфраиму не повезет, то и того больше.

– Говорят, наш Гирш губернатора ранил.

Эфраим на прощание пытается добиться от поскребыша Эзры правды.

– Кто говорит?

Эзра ему ничего не скажет. Ничего. Как бы тот ни ластился к нему, как бы ни подъезжал. Зачем старику правда? Правда и молодым не нужна, хотя молодости стоять перед ней легче, чем старости. В возрасте отца самое лучшее – не знать. Не знать не только лишнего, но и необходимого, которое, перестав быть тайной, тоже оказывается лишним.

– Шмуле-Сендер, – говорит Эфраим.

– Водовоз?

Данута укоризненно смотрит на Эзру, допрашивающего отца, как жандарм.

– А Шмуле-Сендеру сказал Шмерл-Ицик...

Эфраим совсем отчаивается. Так ли уж это важно, кто сказал. Сказали, и все.

– Гирш сапоги тачает, – говорит Эзра. Вот она, единственная правда, которая ему, старику, нужна. – Нам, отец, рано вставать... Прости, но я ничего не могу тебе оставить... сам знаешь мои заработки...

– Я тебе сам могу дать... получил за надгробие Соры-Шейндл... – говорит Эфраим.

– Обойдусь, отец... Летом заработаю немного денег и куплю медведя. С медведем легче. На косолапого народ валом валит. В Сибири их, говорят, полно. Охотники отлавливают медвежат и продают. Может, мы с Данусенькой двинемся туда и привезем оттуда зверя. Обучим его и будем жить-поживать да деньги наживать.

Эфраим слушает поскребыша Эзру и вдруг принимается стучать кулаком в грудь, но младший сын не понимает – то ли старик показывает то место, куда брат Гирш в губернатора целил, то ли жалуется на боль, то ли в чем-то клянется.

Пора на чердак.

Пора спать.

Пора прощаться.

Так четко разделены эти мысли в голове Эзры, и ни одной нельзя поступиться.

Дорога предстоит дальняя – в Барановичи, Могилев. Там скоморохов любят больше, чем в Литве.

Из Могилева они с Данутой, даст бог, отправятся в Сибирь, за медведем. Кровь из носу, но Эзра добудет зверя. Так и звучит в ушах:

– Эзра с медведем! Спешите! Спешите! Только один день! Только сегодня!

Пора спать, пора прощаться.

Может, и навсегда.

Черт побери, и попросить-то некого, чтобы в случае чего сообщили про отца, да продлит Господь его земные дни! Рабби Авиэзера? Нищего Авнера Розенталя? Авнер порой далеко забирается. Но какой из Авнера вестник, если он не сидит на месте? Водовоза Шмуле-Сендера?

Будут они его, Эзру, искать! Жизнь скомороха – вечное скитание, дом скомороха – вольный простор да угол в заезжем доме. Сегодня тут, завтра там. Прощай, отец! Не сердчай, если не я, твой сын, а чужие люди закроют тебе глаза и засыпят землей, если не я, а сосед уронит на твою могилу слезу. Не упрекай меня и ни о чем не спрашивай. Что бы я ни ответил, ты все равно останешься один. Один.

Эфраим снова стучит себя в грудь, как глухонемой, словно на сей раз пытается проткнуть ее насквозь и выцедить на пол свою обиду, свое тоскливое одиночество.

– Я буду твоим медведем, Эзра... где-нибудь достанем шкуру... я напялю ее на себя... Ты, Эзра, меня обучишь. Отец обойдется тебе дешевле, чем дорога в Сибирь... Я еще крепок, я еще вполне могу сойти за медведя.

Эзра натужно смеется, ему вторит Данута, и теперь уже они смеются одновременно, в лад, как будто отрепетировали свой смех.

– А что, Данусенька, заманчивое предложение?

– Зачем тебе, Эзра, мотаться в такую даль? Лучшего медведя, чем я, нигде на свете не сыщешь. Я никогда не зарычу на тебя, не нападу, не задену лапой... Я буду барыню плясать, буду польский краковяк ногами выписывать, буду старинную еврейскую кадрили выкаблучивать.

Старик Эфраим разводит руки в стороны, потом поднимает их полукрылом на уровне крепкой, как молотильный цеп, шеи и осторожно, даже застенчиво делает несколько движений, постепенно убыстряя их, и вот уже он несется по дому в пламенной старинной кадрили, глаза его сверкают ярко и молодо, и в них, как в волшебном стекле, отражается все: и могильники на кладбище, где покоятся три его жены, и канцелярия, где трудится его неуязвимый, его великодушный Шахна, и сапожная мастерская, где тайком заряжает свой пистолет необузданный Гирш, и Церта со своим сыном Давидом, и Эзра со своей зазновой. Быстрей, быстрей, быстрей! Старые ноги притопывают, прихлопывают. Эфраим бормочет «та-та-та», «та-та-та», Данута смотрит на него с испуганным восхищением, сын-скоморох причмокивает языком.

– Та-та-та! Та-та-та-та!

И кормить меня, Эзра, не надо. Буду сосать свою лапу! Ты, наверно, понятия не имеешь, сколько всякого можно из нее вытянуть. И мед, и горчицу, и сладкий нектар, и отраву. Только возьми меня с собой.

– Та-та-та, та-та-та-та!

– Может, хватит, отец?

«Та-та-та, та-та-та-та!» До одури! До изнеможения! Плясать, плясать, пока не рухнет на пол, пока из него по капле не вытечет все, что накопело.

– Та-та-та-та!

Не оставляй меня одного, Эзра! Позови! Только кликни, и я все брошу.

И ни к чему нам твоя Данута! Пусть катит на все четыре стороны, к своему отцу, в Сибирь. Я найду тебе еврейку, я приведу тебе красавицу, плясунью и певунью. Она будет свои поцелуи вливать тебе в правое ухо, а в левое шептать что-то голубиное, как мне шептала твоя мать Лея.

– Та-та-та!

Силы оставляют Эфраима, движения его делаются все медленней, ноги наливаются свинцом.

Надоест тебе, Эзра, медведя водить – буду ученой свинкой. Усядусь у тебя на плече и по первому твоему велению прыгну на руку и стану вылавливать из коробки счастья записки. Я выловлю одну счастливую для тебя, другую – для твоего брата Гирша, третью – для твоей беглянки сестры Церты, четвертую – для Шахны, чтобы ему и дальше так везло.

– Та-та!

У Эфраима кружится голова, Эзра подхватывает его под руки, сажает, как пьяного, за стол, старик тяжело дышит, отдувается, точно гусак, виновато улыбается, и от этой улыбки мурашки ползут по спине Эзры и Дануты.

В дом входит нищий Авнер. Чтобы Эфраиму было веселей, он здесь часто ночует. Невелика радость – ютиться за печкой молельни вместе с такими же, как ты, странниками

и бродягами. Дом Эфраима – все-таки дом. Бедный, осиротевший, но дом. И встречают его, Авнера, здесь всегда с охотой. Авнер Розенталь – нищий особого рода. Он прежде всего побирается воспоминаниями. Не столь уж важно, подадут ему грош или нет. За деньги можно набить желудок, а душа все равно останется голодной. Чтобы не голодала душа, Авнер просит у всех воспоминаний. Пусть вспоминают! Пусть рассказывают ему, как он, Авнер Розенталь, жил сорок лет тому назад. Пусть вспоминают, какая у него была великолепная бакалейная лавка. Чего только в ней, Эфраим, не было! Помнишь? Помнишь *мой* изюм, *мою* корицу? Помнишь, какую я привозил из Ковно крупу – рассыпчатую, сладкую? Манная, гречневая, ячневая! Помнишь? А пожар? Пожар, Эфраим, помнишь? Как я искал среди головешек *мой* изюм, *мою* корицу? Ни крупинки от прошлого не осталось, ни крупиночки.

Авнер здоровается с Эзрой, кланяется Дануте, оглядывает ее с головы до пят и усаживается за стол с Эфраимом. Усаживается и начинает (некстати) хвалить поскребыша Эзру. Какой красавец! Какой парень! И жена его – ого-го! Сразу видно – счастливая пара. Он, Авнер, счастливую пару тут же выделит, покажи ему тысячу пар. Что, что, а глаз у нищих наметанный. Дважды на монету не смотрят, в миг различают, гривенник подали или жалкий грош. Поздравляю, Эзра! Нахес (счастья) тебе!

– Мы, отец, пожалуй, пойдем.

Старик Эфраим молчит.

Авнер тараторит, как заведенный.

– Я тебя, Эзра, помню вот таким... Ты прибежал в мою бакалейную лавочку за леденцовыми петушками... Помнишь *мои* леденцовые петушки?

Эзра кивает головой: помню.

И от этого подаяния, от этой негаданной милостыни Авнер расцветает. Представь себе, Эзра, когда мне бывает очень плохо, а плохо мне бывает каждый день, я беру с полки такой леденцовый петушок и сосу, сосу, сосу. И жизнь кажется не такой горькой, как на самом деле, и я как бы молодею лет на сорок. Береги свою бакалейную лавку!..

– У меня нет лавки. – Эзру томит долгий разговор с нищим, но прослыть грубияном ему не хочется.

– Не говори так, Эзра. У каждого есть своя бакалейная лавочка со своим изюмом и корицей. У каждого. Даже у твоего отца. Его изюм и корица – его камни. Камни, Эзра, тоже можно сосать.

Эфраим сидит в прежней позе, умаявшийся от пляски, выпотрошенный, сумрачный, как этот вечер за окном, который поедает последние ломти зачерствевшего света.

– Чем ты, Эзра, сердце мое, занимаешься?

– Пою... пляшу...

И Эзра с Данутой уходят.

Почуввав недовольство Эфраима, Авнер после ухода счастливой парочки молчит, молчание дается ему с превеликим трудом, оно просто душит его, и, наконец, Авнер решается повторить тот же вопрос.

– Чем он занимается?

– Врет.

Эфраим не хочет обижать Авнера. Скажешь, что Эзра такой же побирушка, как он, Авнер, тот до смерти обидится. Больше никогда не придет. А кроме Авнера да Шмуде-Сендера, у Эфраима никого нет. Нищий и Шмуде-Сендер хоть обмоют его, хоть в саван завернут и, может быть, слезу уронят. На детей рассчитывать нечего. Как ни напрашивайся в медведи, в попугаи или свинки, ничего у тебя не получится.

– Вранье – не работа. Вранье – удовольствие, – перечит Розенталь.

– Эзра клянется, что за правду меньше платят и чаще бьют.

Авнер качает головой, вытаскивает из кармана краюху хлеба (он всегда приходит к Эфраиму со своим хлебом; своим хлебом он называет не тот, который сам пек, а тот, который ему подали в другом доме), переламывает ее надвое, протягивает Эфраиму; они макают хлеб в молоко и вгрызаются в размокшую корку своими искрошившимися зубами.

– Знаешь, Эфраим, о чем я вчера весь вечер в молельне думал?

Эфраиму невдомек, о чем Авнер вчера весь вечер в молельне думал. Наверно, снова о своей бакалейной лавочке, снова о пожаре, снова о своей жене, которая не вынесла позора и утопилась в Немане сразу же после того, как Авнер вышел на свой горестный, свой унижительный промысел.

– Я думал: почему нет нищих-птиц или нищих-зверей? Или нищих-деревьев?

Эфраим поворачивается к нему лицом.

– Думал, думал и придумал. – Авнер макает хлеб в козье молоко и продолжает: – В небе нищих не бывает, потому что оно все твое, от той вон тучки до этой. И лес весь твой – расти, гоняйся за добычей, пасись сколько угодно... Например, твоя коза... Она во сто крат богаче тебя. Чтобы добыть себе корм, ей камни ворочать не надо. И унижаться не надо... Вот я, Эфраим, и подумал: велика ли радость, что Господь сотворил нас людьми? Сотвори он нас козами, мы были бы куда счастливей. Что из того, что козий век недолог? Лучше прожить пятнадцать лет козой, чем сорок лет нищим.

Мудрец! Право слово, мудрец! Рабби Авиэзер ему и в подметки не годится. Авнеру не по миру ходить, а советы богомольцам давать. Самые несчастные твари на земле, Авнер, это родители. Потому что никто так быстро не нищает, как они, потому что не было никого на свете богаче их, покуда дети их были малолетками и жили бок о бок с ними. Но вдруг прошумел, пронесся пожар, а время, Авнер, костер, гора огня, пронесся пожар и сожрал все, и остались ты, отец, и ты, мать, погорельцами из погорельцев, нищими из нищих, побирушками из побирушек, попрошайками из попрошаек. Живут, бедняги, и день-деньской только и делают, что побираются то доброй вестью, то дурной, то славой их детей, то их позором, то их величием, то их низостью. Побираются крохами, объедками и довольны, ибо за один стол им уже вместе никогда в жизни не сесть! Ты вот, Авнер, ничего не слышишь, макаешь себе свою корку в молоко, похрустываешь, как кролик, рассуждаешь про всякую всячину, а ничего, ничегошеньки не слышишь. Ты не слышишь, а мой слух, Авнер, точно рана, весь полыхает, кровянит от каждого скрипа там... наверху... на чердаке... на кровати моей единственной дочери Церты, познавшей не в родном доме, а где-то на чужбине, в Барановичах или Киеве, радость проснувшейся плоти, таинство проникновения семени в почву, муки набухания плода. Я прислушиваюсь, Авнер, и да простит меня Господь, уподобляюсь раненому зверю. Мне хочется ворваться к ним, к сыну моему Эзре и этой Дануте, оторвать их друг от друга, опрокинуть кровать, разлучить их навсегда. Я знаю, Авнер, это гнусно, это гадко, но я схожу с ума от этого звука пружин, от этой яркости пера на шляпе, от этой снедающей меня обиды.

Куда не поспевает взгляд Эфраима, туда поспевает его мысль.

Она отчаянно и ревниво отрывает Эзру от Дануты, Данусеньки, она отменяет его ярмарочное житье, его песни и куплеты, его шутовство и скоморошество, его паясничанье и кривлянье в угоду толпе, она уводит его от соблазнов, кидает за тридевять земель, за океан в благословенную Америку к сыну водовоза Шмуде-Сендера, белому счастливому Берлу, торгующему лучшими часами в мире.

Мысль Эфраима уравнивает Эзру с теми, кто покинул родной край и – если верить письмам – нашел свое счастье. В самом деле, чем он, поскребыш Эзра, хуже Берла Лазарека? Берл Лазарек открыл в Нью-Йорке собственное дело. Часы его фирмы показывают самое точное время в мире. Говорят, белый счастливый Берл за каждую точную минуту берет по доллару. К сорока годам он, конечно, станет богачом. А Эзра? Эзра мечтает о медведе!

Скрип на чердаке затихает.

Эфраим прислушивается, пялит глаза в потолок, словно закоптившийся от невеселых мыслей, Авнер ерзает на лавке, похоже, блохи его кусают (а может, они и впрямь его одолели). Ему невдомек, почему Эфраим все время глазеет на потолок. Бойтся, что обвалится? Или собирается его побелить? Зачем? Ведь и под беленым потолком его мысли веселей не станут.

Авнер растягивается на лавке, подкладывает под голову правую – рабочую – руку, ту, в которой перебивало столько чужих, замусоленных монет и которая сама как бы превратилась в большую, вышедшую из употребления, монету. Авнер привык спать на твердом. Когда спишь на твердом, видишь хорошие сны.

– Помнишь, Эфраим, как ты соорудил мне каменное крылечко. У всех лавочников – деревянное, а у меня – из камня. Помнишь?

Эфраим что-то бурчит в ответ.

– Я, бывало, поднимался по каменным ступенькам не в лавку, а на само небо... Ты еще не хочешь спать? Не хочешь. Ну ладно. И я не буду. Выспимся в могиле. Говорят, там, на том свете, Бог возвращает всем то, что он у них на земле отнял. Если это правда, я попрошу его, чтобы он вернул мне мою жену и мою бакалейную лавку... молодость пусть не возвращает, но бакалею пусть вернет... Ты снова соорудишь мне каменное крылечко... Только на сей раз я заплачу тебе за работу не деньгами, а изюмом и корицей.

– Зачем мне твой изюм и корица? Все равно некому печь.

– Как некому? У кого там три жены? У меня? Ты, Эфраим, Бога за какую жену попросишь?

– Спи!

– За Лею.

– Ну что ты привязался?

– Конечно, за Лею. Из всех твоих жен она была самая стоящая. До самой смерти говорила мне: «Господин Розенталь». Только для твоей Леи я был господином... Только для нее.

До чего же сегодня Авнер болтлив! Мелет и мелет, словно старается заговорить его, Эфраима, тревогу. Странный человек! Пока держал свою бакалею, на всех волком смотрел, а погорел – и его как будто подменили. Страшно вымолвить, но нищенство ему на пользу пошло. Так небось никогда бы к Эфраиму не пришел ночевать. Никогда. Как там сказано у мудреца: «Те, которые спали на ложах из слоновой кости, легли в другую кровать – в сырую землю, те, которые ели лучше других, сами стали пищей для червей, те, которые носили богатую одежду, облачились в глину, кишащую червями; губы, которые шептали тайны, с которых слетали слова любви, лобызают землю. Ноги не связаны, руки не скованы, а пошевелиться человек не может».

Авнер, однако, не унимается:

– А в раю есть нищие? Как ты, Эфраим, думаешь?

– Попадем – увидим.

– Бакалейщиков там хоть пруд пруди. Только из нашего местечка трое – Капер, Гринблат, Поляков... А нищих, наверно, там и вовсе нет, чтобы вида не портили.

– Я, Авнер, сейчас не про рай, а про ад думаю.

Эфраим снова прислушивается.

Наверху ни звука.

Ни скрипа.

Мертвая тишина, какая стоит в поле после посева.

– Совсем забыл, Эфраим... у меня для тебя новость.

Авнер переворачивается на другой бок, глаза его в темноте пытаются найти Эфраима, но темнота делает его неразличимым; гладь мрака мерцает ровно и нерушимо, и Авнер тычется в него, как муха в стекло.

– Знаю.

– Ну и что?

– Что «ну и что»?

– Небось рад...

– На седьмом небе!..

– И я бы был на седьмом небе, если бы кто-нибудь и мне написал.

– Написал?

– Видно, зовет тебя к себе или домой просится.

В темноте слово звучит, как в лесу, – отчетливо и гулко, но Эфраим никак не может сообразить, кто зовет его к себе и кто собирается – даже просится – восвояси.

– Кто? – спрашивает Эфраим.

– Дочь твоя – Церта... Мне Хася-Двосе сказала. Она же тоже Дудак...

– Да, – отвечает Эфраим, все еще не понимая, о чем говорит нищий.

– Встретил почтарь Нестерович Хасю-Двосе и говорит: тебе письмо!

– Покороче, Авнер, покороче!

– Словом, ошибка вышла. Письмо не Хасе-Двосе, а тебе.

– Что ж ты до сих пор молчал?

– Совсем из головы вылетело...

Ну и денек! Одна весть за другой. И эта, из Киева, наверно, ничуть не лучше той, что пришла из Вильно.

Год, а может, больше Эфраим от дочери ничего не получал.

В последнем письме написала: жива-здорова... работает белошвейкой... внуку, Давиду, шестой годик пошел...

Эфраим прочитал то письмо и сразу же заподозрил что-то недоброе. Ни слова про этого фармазона, который сманил ее из дому, женился ли он на ней или, полакомившись, бросил. Эфраим вертел письмо в руке, разглядывал на свету, обнюхивал, стараясь учуять Цертин запах, а учуял душок беды. В том, что с Цертой беда, он нисколько не сомневался. Беда – немногословна, радость болтлива. Что с ней? Эфраим сел и тут же ей отписал ответ. Он писал его до глубокой ночи, корпя над каждой строчкой, с трудом втискивая свои мыслы-камни в белый прямоугольничек бумаги, допрашивал Церту, как становой пристав, сетуя на судьбу, покаравшую его, отца, одиночеством и неутоленной родительской любовью. Он умолял Церту приехать хотя бы на могилу матери – любимицы Леи, но ответа тогда не получил и ужасно расстроился.

Если с ней, Цертой, стряслось какое-нибудь несчастье, то он и минуты не станет раздумывать, остановит первую попавшуюся телегу, выезжающую из местечка, попросит, чтобы его довезли до Киева – пусть две версты, пусть одну, только бы поближе к ней, только бы поближе.

Но вести от нее приходили редко – раз в год, – и не были они ни добрыми, ни дурными.

В том, что все – и покушение Гирша, и приход Эзры с этой Данутой, и письмо Церты – таким странным и таким роковым образом совпало и сопряглось, Эфраим видел чуть ли не предначертание свыше.

Жизнь – волчица, думал Эфраим, разодрала на части, растаскала по норам его агнцев, самое дорогое, что у него было, оставив с теньями и могилами, с безмолвными камнями, с погорельцами-нищими, с водовозами, которые либо побираются воспоминаниями, либо развозят по домам тусклую, вонючую, неизбывную старость. Перед смертью, перед тем, как он соорудит самому себе надгробие, думал Эфраим, Всевышний решил послать ему послед-

нее и самое тяжкое испытание – сделать несчастными его детей и лишить его возможности им помочь. Эфраим это понимал и вместо того, чтобы убояться, принял вызов вседержителя и затеял с ним тяжбу. Ведь в чем-то их силы были равны: Бог был отцом для всех живущих, Эфраим же – для четверых; пусть малая песчинка, пусть только жалкий побег на древе жизни, но в своей любви и он был всемогущий, всеведущий и всезнающий бог.

Всей своей неприкаянностью, всем своим одиночеством, которое тоже равняло его с Богом, Эфраим был готов к состраданию, участию, союзу.

Если надо (надо, конечно!), он завтра же на рассвете пустится в дорогу – к Гиршу – Гиршке-Копейке в Вильно (ему труднее всего, его ждет виселица), а потом к Церте, в Киев (бросил ее этот фармазон на произвол судьбы с маленьким ребенком на руках), потом, может, с Эзрой – к сибирским охотникам за бурым таежным медведем... Лучшее надгробие родителям – их живые и счастливые дети.

И еще небо.

Небо – это надгробие для всех.

Дожить бы до утра! Скорей добраться бы до почты в Мишкине и взять у Нестеровича письмо.

Эй, Шмуде-Сендер, запрягай свою клячу!

Эй, Авнер, принимай козу! Не забудь ее в полдень подоить!

Неужели Церта и впрямь просится домой?

То-то было бы радости!

Церта напоминала Эфраиму любимицу Лею, третью его жену, – такая же проворная, такая же стройная, только крепче матери и выше. Эфраим сам подыскивал для нее женихов и, заранее завидуя им и презирая за кражу (разве муж не крадет жену у ее отца и матери?), не мог остановиться ни на одном парне и всех постепенно отваживал.

Может, потому, что он так ее берег, так холил и лелеял, бегство Церты ошеломило его. Он-то, старый дурень, надеялся, что хоть она не бросит его, останется вместе с ним, пока он не помрет, выйдет за какого-нибудь местечкового парня замуж (больше всего ему нравился степенный лесоруб Ицик Магид), наплодит кучу детей, у него, у Эфраима, их было четверо, а у нее с этим лесорубом будет вдвое больше.

Авнер похрапывает на лавке.

Спит у себя дома и возница – Шмуде-Сендер.

Эфраим все про них знает – он даже знает их сны.

Шмуде-Сендеру снится его удачливый белый Берл, открывший в Нью-Йорке собственное дело. Берл не водит медведя, не пляшет и не поет на рыночных площадях, не валяется на чердаке с иноверками. Белый Берл ходит во сне Шмуде-Сендера в белом чесучевом костюме и в белых гамашах. Белый Берл считает белые доллары. У белого Берла – белые-белые дети.

А Авнеру – Эфраим готов поклясться! – снится его бакалейная лавочка, далекие, допотопные времена. Ему снятся изюм и корица. Он зачерпывает изюм из мешка и сыплет себе на голову.

Себе и своим покупателям!

Ему, Эфраиму!

На лысину Шмуде-Сендера!

На рыжие кудри маленького Эзры!

На вьющиеся пейсы Гирша!

На богоугодную ермолку Шахны!

Хлещет щедрый изюмовый дождь!

Все местечко залито, засыпано, замечено изюмом!

И Шмуде-Сендер, водовоз и черный бедняк, и Гиршке-Копейка в наручниках, и Эзра, обессиленный запретной лаской, и его подруга Данута, распластавшая руки, как западную, и

беглянка Церта со своим сыном Давидом, и Шахна, строгий, подтянутый, советник самого губернатора, раскрывают руки и ловят эти юркие, эти желанные, эти застывшие капли!

О, этот сладостный ливень, смывающий все дурные вести, возвращающий свободу всем узникам, воодушевляющий всех нищих! Исцеляющий всех раненых и увечных, всех истекающих кровью, даже если они губернаторы!

Лейся! Лейся!

Лейся и в мои глаза!

Старик Эфраим смыкает веки.

И сон под веками всходит, как дрожжевое тесто, начинает бродить, и бродильный звук, словно голос свирели, плывет над деревянной выщербленной лавкой, в густой и непроницаемой, как мысль, темноте.

Эфраиму снится, будто попал он на небо, будто встретили его ангелы, взяли под руки и повели к божьему престолу. Ведут, ведут, а дороге нет конца, и престола не видно, в ногах у Эфраима тяжесть, от света рябит в глазах, глаза слезятся, слезы собираются вместе, сперва в тучку, потом в огромное облако, закрывающее от взгляда землю, еще миг, и облако прольется дождем на нивы и пашни, но ангелы вытирают своими крыльями Эфраиму лицо и сметают с небосклона тучи. Вот и престол. Весь в золоте, в бархате, с дубовыми резными ножками, непокрытый, даже скатерти нет. Садись, говорят ангелы Эфраиму, отныне ты будешь богом на белом свете! Карай и милуй! Ангелы подвигают Эфраиму престол, расчесывают ему бороду, и борода становится длинной и перистой, как облако. Карай и милуй, повторяют ангелы. Эфраим садится, откидывается поудобней на дубовую спинку, завешенную парчой и шелками, взгляд его рассекает пространство, как нож пирог, и от необозримого простора отваливается маленький прямоугольник мишкинского леса, узенькая лента Немана, заросший ракитами берег и крохотная фигурка женщины... Стоит и полощет в реке белье. Бог-Эфраим вглядывается в нее и кричит: «Лея! Лея! С сегодняшнего дня ты больше не жена каменотеса, а богиня. Жене бога не подобает ни стирать белье, ни полоскать». И в ответ Эфраим слышит: «Ишь, какой умник... А кто за меня Цертины пеленки постирает... штанишки Гиршеле... А ну-ка, Эфраим, слазь! Надо дров наколоть, надо печку протопить! Хватит тебе лодырничать на небе!» Бог-Эфраим переводит взгляд с берега Немана на свой двор и видит голопузого Гирша, видит Церту, плывущую в люльке, подвешенной под потолком. Церта пищит, а бог-Эфраим качает люльку, пытается ее успокоить; ангелы глядят на него, ждут его приказаний. Особенно тот, у которого два черных крыла, как две головешки, – ангел смерти. «Я не хочу быть богом... не хочу, – говорит Эфраим. – Пустите меня, пустите». Но ангелы, особенно тот, у которого крылья, как головешки, не пускают, держат его (и откуда у ангелов такая сила?), а он вырывается, что-то им объясняет, пытается баюкать Церту, но люлька ускользает от него, и ангелы снова усаживают его на престол и снова просят: «Карай и милуй!» – «Да неохота мне никого ни карать, ни миловать. Мне надо дров наколоть и печку протопить, мне надо Церту усыпить и Гиршке одеть». И вдруг он опрокидывает престол и прямо с облака падает вниз, к мосткам, к Лее, ангелы гонятся за ним, но он летит быстрее, чем они, летит и, как бы заклиная их, приговаривает: «Лучше дрова на земле колоть, лучше печку для детей своих топить, лучше белье в реке полоскать, чем карать и миловать и быть на небе богом».

II

Производство следствия по делу Гирша Дудака, покушавшегося на жизнь его высокопревосходительства генерал-губернатора Северо-Западного края, было поручено жандармскому полковнику Ратмиру Павловичу Князеву, состоявшему (через жену) с пострадавшим в каком-то дальнем, но тем не менее важном в делах службы родстве.

Еще не старый, осанистый, с безвозрастной наружностью, Ратмир Павлович слыл в столице Северо-Западного края либералом, человеком нового времени, был следователем многоопытным и хитроумным, весьма ценным властями. Он не без основания рассчитывал на скорое продвижение по службе – перевод не то в белокаменную Москву, не то в звонкий и достолавный Петербург.

Но годы шли, а желанного продвижения не было. И не потому, что Князев его не заслуживал (перевели же его из Томска в Вильно!), а потому, что в руки все время попадалась мелкая, вертлявая рыбешка, от которой, как Ратмир Павлович шутил, ни мясца, ни ухи – одна вонь.

Выстрел Гирша Дудака в генерал-губернатора возбудил в Князеве прежние честолоубивые надежды.

Как только ему сообщили о покушении, он потребовал к себе толмача следственной части Семена Ефремовича Дудакова, переводившего показания подследственных евреев, не умевших или по какой-либо причине отказывавшихся изъясняться по-русски, и, пока Дудаков поднимался с первого этажа на второй, Ратмир Павлович перелистал утренний выпуск ялового «Виленского вестника».

– Читал? – спросил Князев, когда Семен Ефремович вошел в комнату, и навел на него свои бинокли. Так не то в шутку, не то всерьез полковник называл свои цепкие, нестерпимо голубые глаза.

– Что?

У Семена Ефремовича от дурных предчувствий перехватило дыхание.

– Имя и фамилия – Гирш Дудак – тебе что-нибудь говорят? – уставился на толмача Князев, прикрыв своими тяжелыми волосатыми руками половину всех газетных новостей. Дудаков не дрогнул.

Казалось, давно, может, год, а может, и два – ждал он этого вопроса. Брат Гирш должен был попасться. Разве могло быть иначе? Должен был попасться, и наконец попался.

Семен Ефремович вспомнил, как случайно позапрошлым летом на Русской улице в окне сапожной мастерской увидел Гирша. Они договорились встретиться, но брат вдруг бесследно исчез.

Маленький, легкий, как перышко, старик, видно, хозяин мастерской, на вопрос Семена Ефремовича, куда девался рыжий подмастерье, ответил, что этот горлопан, этот задира, этот лодырь, слава богу, ушел от него.

– Куда? – спросил Дудаков.

– Не знаю. Я его не выгонял. Но скажите, пожалуйста, Идель Гольдин похож на этого... я даже не могу выговорить это слово... на этого экспу?..

– А Идель Гольдин – это, простите, кто?

– Вы еще спрашиваете? Такой солидный, такой прилично одетый господин приходит в сапожную мастерскую на Русскую улицу и не знает, кто такой Идель Гольдин. Это все равно, прошу прощения, что прийти к Николаю и спросить, кто такой Николай.

– А кто такой Николай?

– Вы только посмотрите на него! Он не знает, кто такой Николай... Это, если верить вашему братцу, наш главный экспу... я даже не могу выговорить это слово... Николай – это наш царь. А Идель Гольдин – это я.

И Идель Гольдин принялся жаловаться на Гирша – что это, мол, за работа, если все время смотришь по сторонам и ищешь несправедливость? Ваш братец все время смотрел по сторонам. А когда смотришь по сторонам, разве можно прибить каблук или набойку? Не спорю... Руки у него золотые. Но язык!.. Я вас спрашиваю – похож я на этого... я даже не могу выговорить это слово... на этого экспу?..

– Эксплуататора.

– Пусть будет по-вашему! Послушать вашего брата – так первый экспу... – это я, а второй – царь Николай...

– А что он, ваше высокоблагородье, натворил? – как бы очнувшись от воспоминаний и стараясь не выдать своего волнения, пробормотал озадаченный Семен Ефремович, не сомневавшийся в том, что главная неприятность – впереди. Ратмир Павлович обожал сюрпризы.

– Отвечай не по-вашему, а по-нашему: вопрос – ответ, вопрос – ответ.

И Ратмир Павлович снова усталился на своего толмача.

Это разглядывание, этот приподнято-торжественный голос, от которого веяло панихидой, этот нестерпимо голубой взгляд, прожигавший, как увеличительное стекло, не только одежду, но и кожу, это слащавое и корыстное панибратство всегда внушали Семену Ефремовичу страх и даже отвращение.

Он понимал: отрицать свое родство с Гиршем Дудакom бессмысленно. Князеву уже, наверное, все о нем известно. Ратмир Павлович просто играет с Семеном Ефремовичем в прятки.

– Имя и фамилия – Гирш Дудак – тебе что-нибудь говорят? – снисходительно повторил свой вопрос Князев.

– Ваше высокоблагородье, – твердо сказал Дудаков. – Гирш Дудак – мой сводный брат. Мы от одного отца, но от разных матерей.

Князев сидел в задумчивости и с почтительным удивлением смотрел на Семена Ефремовича. Не толмач, а клад! Никогда не соврет, не поступится своими убеждениями, ни перед кем травкой не стелется. Ратмир Павлович не ошибся, когда выскреб его из раввинского училища, за годы совместной службы не только привык к нему, но и привязался.

Имея всю жизнь дело с закоренелыми лжецами, с угодливыми лицемерами и двурушниками, сталкиваясь на каждом шагу с увертками, утайками, умолчаниями, трусливыми шепотками, полковник ценил своего толмача за смелость и правдивость в суждениях, за независимость и свободу там, где иной изгой – а Семен Ефремович в глазах Князева все-таки оставался изгоем – предпочитает поджать хвост или поднять вверх руки.

Ратмир Павлович не раз ловил себя на мысли, что подфарти ему, он Семена Ефремовича с собой в Москву или Петербург возьмет – пора и еврейскому племени понемногу приобщаться к заботам и славе России.

– Ваше высокоблагородье! Полагаю мое дальнейшее пребывание в должности и невозможным, и нежелательным.

– Полно, Семен Ефремович! Подумаешь – сводный брат! Легко бравировать своей преданностью, когда караешь чужих. Чужие вроде бы и не люди... они без глаз, без ртов, без костей. Сворачивай им челюсти, выколачивай зубы! Другое дело – свои. Своему всегда больно. Но истинная преданность только на своих и проверяется.

– Преданность чему?

– Как чему? Отечеству.

– Да, но кроме отечества еще существует Бог.

– Бог – выше, отечество ближе. Это оно нам, Семен Ефремович, жалование платит.

– Любовь к отечеству не должна подпираться червонцами, ибо заплатить можно и за виселицу.

Высокие слова Семена Ефремовича не вязались, враждовали со скромной обстановкой князевского кабинета, с громоздким дубовым столом, за которым Ратмир Павлович сидел, нагнув голову, как в окопе.

– Ваше высокоблагородье! Вы требуете от меня того, что выше моих сил. Я не могу присутствовать на допросах своего сводного брата... Гирша Дудака.

– Но почему?

– Я не смогу быть правдивым.

– Надо, голубчик, смочь... – Князев посмотрел на Семена Ефремовича чуть ли не с обожанием.

– Понимаю, понимаю, – процедил он. – Но ты докажи, что Платон, то бишь Гирш Дудак, тебе брат, а истина дороже.

– Ваше высокоблагородье! Я не разделяю ни его истин, ни... – Семен Ефремович замолк, вдохнул всей грудью воздух и добавил, – ни ваших.

Ратмир Павлович на миг растерялся, но взял себя в руки и тем же приподнято-торжественным тоном сказал:

– Боюсь, Семен Ефремович, это единственная возможность увидеть Гирша Дудака живым... еще живым...

– Что он сделал? – спросил Семен Ефремович.

Князев пододвинул газету, разгладил ее и по-ученически прилежно, помогая себе кончиком языка и обжигая Семена Ефремовича своими нестерпимо голубыми увеличительными стеклами, принялся читать:

– Вчера у входа в цирк Мадзини неизвестный злоумышленник открыл огонь по генерал-губернатору, прибывшему на гала-представление вместе с супругой и детьми. Преступник выпустил две пули, из коих одна угодила его высокопревосходительству в ногу, другая – в руку. После короткого сопротивления покушавшийся был задержан и доставлен в Виленскую политическую тюрьму. При задержании террорист назвал себя Гиршем Дудаком, сыном каменотеса Эфраима Дудака, уроженцем Россиенского уезда, местечка...

И он, Шахна Дудак – или, как его теперь величали, Семен Ефремович Дудаков – был сыном каменотеса Эфраима, только от первой его жены Гинде. Когда-то юный Шахна мечтал поступить в Виленское раввинское училище, поступил туда и, наверное, стал бы вероучителем, пастырем, если бы не странное стечение обстоятельств, перевернувших всю его прежнюю жизнь и сделавших его собеседником не пророков, а жандармского полковника Ратмира Павловича Князева.

Еще там, в Мишкине, в местечке на берегу Немана Шахна обратил на себя внимание своими недюжинными способностями, особенно по части языков. Он лучше всех своих одногодков – и не только одногодков! – говорил по-русски, самостоятельно изучал литовский и польский, интересовался даже чопорной латынью. Однажды мачеха поймала его на паперти костела, надрала неслауху уши: мол, языки языками, но зачем в чужой храм повадился? Двойре всплескивала руками и на все местечко орала: «Горе мне! Горе! Выкреста вскормила! Выкреста!» Но Шахна и не думал креститься, просто обожал слушать, как престарелый ксендз Рымович, размахивая кадиллом, зычным голосом превозносил Христа: «Лаудатур Езус Кристус! Лаудатур Езус Кристус!»

Особенно Шахна преуспел в древнееврейском и русском. Русский, считал он, язык сильных и несметных числом, а жить с сильными и не понимать их – вздор, пагубный, непростительный вздор.

Уже в хедере он знал больше, чем его учитель, глуповатый, но добродушный меламед Лейзер.

Меламед Лейзер первым и выпорол Шахну за то, что тот знал больше других.

– Чтоб не зазнавался!

Хрясь розгой.

– Чтобы уважал старших!

Хрясь розгой.

– Чтобы не был образцом для других, ибо нет образца выше Господа!

Хрясь, хрясь, хрясь.

Шахна все время мечтал выпороть меламеда Лейзера своими знаниями и однажды, приехав на побывку в местечко, вызвал старика на спор.

Проходил спор в молельне. Вопросы задавали столпившиеся у амвона богомольцы, а меламед Лейзер и Шахна отвечали.

– Что такое солнце? – спросил синагогальный староста Зусман Кравец.

Почесывая свою пегую бородку, покрывавшую, как дикорастущее растение, его бледное лицо, меламед Лейзер, ничтоже сумняшеся, сказал:

– Солнце – это печь Господа.

– А ты, Шахна, что скажешь? – обратился к юнцу Зусман.

– Если солнце – это печь Господа, то почему он летом топит ее жарче, чем зимой?

Богомольцы с восторгом внимали юному Давиду, одолевавшему Голиафа.

– Все очень просто, – не растерялся Лейзер. – Летом дрова суше и подвозить их легче.

В молельне рассмеялись.

– Солнце, ребе, топят не дровами. Солнце – это огненный шар, светило. Вокруг него земля вертится.

– Как же она, умная ты голова, вертится, если я стою на месте. И водовоз Шмуле-Сендер стоит на месте. И Авнер. И почтенный Зусман Кравец. И твой отец каменотес Эфраим... И исправник Нуйкин. Исправник не позволит, чтобы им зря вертели.

– Только глупость стоит на месте. Стоит и пытается загородить солнце, – сказал Шахна.

Он томился в местечке, тяжело переживал невежество своих близких, клялся достичь когда-нибудь славы и озарить темноту.

В Вильно Шахна попал не сразу. Отец Эфраим устроил его в Вилькию, в торговый дом Маркуса Фрадкина письмоводителем. Он, Эфраим, когда-то из чистого мрамора надгробие отцу Фрадкина – Тевье Фрадкину соорудил. Памятник Тевье Фрадкину был кладбищенским солнцем, вокруг которого вертелись все остальные могильные камни.

Маркус Фрадкин взял Шахну в свою контору, поскольку юноша обладал редким по красоте и ясности почерком (таким почерком переписывались древние священные свитки!). Переписывал, правда, юный Дудак не священные тексты, не танах и не талмуд, а купеческие бумаги, корпел над ними с утра до позднего вечера. Не чурался он и черной работы – мог наколоть и сложить на зиму дров, запрячь в бричку лошадь, заменить кучера. В свободное время Шахна прирабатывал тем, что писал прошения и жалобы исправнику Нуйкину, становому приставу, ходатайства на высочайшее имя в Петербург. Сердце у него замирало, когда он выводил на листе: «Ваше императорское величество! Осмеливаюсь нижайше и всепокорнейше просить...»

Обычно он прочитывал эти прошения вслух и на миг перевоплощался в царского сановника, министра двора, стоящего с ходатайством какого-нибудь Файнштейна или Вайнштейна перед троном, а иногда – Господи, какое кощунство! – в самого императора.

Не было случая, чтобы император Шахна отверг чью-нибудь просьбу. С великим удовольствием он одним росчерком пера удовлетворял их, безвозмездно совершая добро и наказывая зло.

Однажды он даже обмишурился. Шахна так увлекся своей ролью государя-императора, что, сочинив для кого-то ходатайство об освобождении сына от рекрутского набора, сверху, там, где расписывался его величество, собственноручно начертал:

«Оного Зелика Шафира из рекрутов освободить и препроводить в местечко Мишкине, Россиенского уезда, Ковенской губернии».

И отправил бы сие ходатайство в Петербург, если бы не проситель, отец оного Шафира. Когда Шахна прочитал ему все от строчки до строчки, Шафир сказал:

– Уже?

Он стоял перед писцом как вкопанный и повторял это короткое, это всемилостивейшее слово:

– Уже?

Проситель бросился к Шахне, схватил его руку и высохшими губами стал благодарно и неистово целовать.

– Спасибо.

– За что?

– Вы же сами прочитали: «препроводить оного Зелика Шафира... то есть сына моего... в местечко Мишкине, Россиенского уезда, Ковенской губернии... домой».

Шахна с трудом высвободил руку. Губы счастливого отца впились в нее, как клещи. Когда проситель вышел, ошеломленный ходатай порвал в клочки бумагу, достал чистый лист и переписал прошение.

С тех пор он запомнил одну, как ему казалось, непреложную истину: нельзя играть в добро. Такая игра всегда кончается победой зла.

Шахна еще в хедере хотел творить добро.

Но для добра у него, кроме отзывчивого сердца, ничего не было.

Шахна понимал, что надо обрести силу или власть; без силы, без власти ничего не добьешься. Поэтому надо не прозябать у Фрадкина, не быть у него за кучера. Вся сила кучера в чужом кнуте, а вся сила хозяина в том, что и кнут, и кучер – продолжение его власти. Правда, Шахне мнилось, что для того, чтобы оснастить добро силой или силу увенчать добром, необязательны ни картечь, ни ружья. Ум – картечь добра и власти.

Живя в Вилькии и томясь своей докучливой, однообразной работой, Шахна всячески изощрял свой ум, обогащал свои знания. Он впервые в жизни получил доступ к библиотеке. Были среди фрадкинских книг пузатые словари, справочники по астрономии, альбомы средневековой живописи, старинные древнееврейские рукописи и фолианты. Молодой провинциал жадно проглатывал одну книгу за другой, до утра разглядывал шедевры Рафаэля и Леонардо да Винчи. Он стал понемногу изучать французский язык и через полгода настолько овладел им, что пересыпал свою еврейскую речь изысканными словечками из Руссо и Монтеня. Знать, как можно больше знать, впитывать, усваивать, поглощать! Он недосыпал, просиживал в кабинете Фрадкина до первых петухов, выискивал в книгах зернышко добра, которое, как он надеялся, когда-нибудь станет на земле и властью, и законом.

Лесоторговец Маркус Фрадкин, видя такое рвение письмоводителя, стал приглядываться к нему не только как к прилежному служащему, но и как к возможному зятю. Он всячески поощрял его увлечение книгами, иностранными языками, привозил из Ковно какие-то журналы, давал Шахне, и тот проглатывал их за один вечер или за одну ночь. Что из того, рассуждал Фрадкин, что он на восемь лет моложе Зельды и простого происхождения. Он, Маркус Фрадкин, тоже не из иерусалимских царей, отец его был коробейником, ходил по градам и весям, продавая крестьянам всякую всячину – иголки, нитки, ножи, пуговицы. Что из того, что Шахне только семнадцать. Приданое – сотни две саженой отборного леса, тысячи три в новеньких хрустящих рублях, домик на берегу Немана – устранил разницу в годах между женихом и невестой.

Однако Шахна не дал себя опутать и связать брачными узами, хотя отец его, каменотес Эфраим Дудак, прознав про такую возможность, всячески подталкивал его на такой шаг.

– Не артачься, Шахна! Пока пташка не улетела к другому, хватай ее за крылышко!.. От такого родства голова кругом идет!.. Подумай, сынок!

Пташка! Родство! Он, Шахна, за две сотни саженой леса, за три тысячи рублей в новеньких хрустящих купюрах свою свободу не отдаст. Зачем ему ходить в вечных должниках у Фрадкина – лучше в письмоводителях.

Нет, на такое Шахна не пойдет. Ему никакой жены не надо. Его жена – мудрость человеческая, его пташка – резвая мысль, гнездящаяся в голове, его родственники – книги и рукописи. Зельда, конечно, хороша, но свою свободу, свою гордую и независимую бедность, свое вольное, легкокрылое воображение, уносящее его из Вильны в Варшаву, из Варшавы – в Париж, из Парижа – в Иерусалим, в Землю обетованную, где он употребит все свои знания, чтобы возродить, отстроить разрушенный Титом Храм, Шахна ставит выше всех земных благ.

Он и отправился из Вилькии в Вильно с единственной целью, с одним-единственным намерением – посвятить свои дни изучению Торы, постижению закона божьего, вне которого не мыслил своего существования.

В раввинское училище его приняли безо всяких проволочек.

Рабби Акива, мудрейший из мудрых, святейший из святых, молвил:

– У тебя, мой сын, не голова, а благоухающий сад.

Первый год учебы пролетел, как сон.

Хотя Шахна жил бедно, частенько недоедал, он был почти счастлив.

Бог и Тора казались высокой непробиваемой стеной, отделявшей его от грязи, от несправедливостей, от всех язв и пороков, которые царили в мире и которым и он, Шахна, был подвержен. То был бесконечный благоуханный сад, и Шахна расхаживал по нему вместе с садовниками рабби Акивой и рабби Элиагу. В том саду росли диковинные цветы добра и справедливости, Шахна срывал их и бросал туда, за стену, обездоленным и оскорбленным; цветы вспыхивали, как молнии, превращаясь для кого в каравай хлеба, для кого – в звон отмыкаемых кандалов, для кого – в надежный посох на старости лет. Любовь Шахны к миру, грязному, заплесневелому, была безгранична, жертвенна и неудержима. Может, потому с такой болью, с таким душевным надрывом воспринимал он прегрешения своих однокашников, то и дело забывавших про свое высокое предназначение в будущем и сводивших имя Бога к вкусу похлебки, которую они в училище получали даром, к звону монет и обращавшихся к Всевышнему, как к сообщнику и кредитору.

Больше всего претили Шахне доносы, которыми училище кишмя кишело. У рабби Акивы, мудрейшего из мудрых, святейшего из святых, пухла голова от всевозможных наветов, науськивания, нелепых сообщений.

Долгое время молва щадила Шахну.

Но однажды ее жало коснулось и его.

Шахна как сейчас помнит тот день, тот час, даже ту минуту, когда рабби Акива в сопровождении рабби Элиагу торжественным шагом вошли в его комнату, в которой Шахна жил вместе с другим семинаристом – Беньямином Иткесом из Вилкомира.

Рабби Акива начал издалека, полюбопытствовал, не совершил ли он, Шахна, какого-нибудь греха, словом или делом, не завелся ли в его голове, в его благоуханном саду, какой-нибудь паршивый червячок, подтачивающий древо добродетели и целомудрия.

Рабби Элиагу кивал, оглаживая белую, как молоко, бороду, а он, Шахна, думал, что же он мог натворить, чем так беспокоил этих почтенных старцев? Рабби Акива призывал ничего не утаивать, говорить чистую правду, ибо Бог и есть правда, а слугам Господа –

нынешним и грядущим – не позволено кривить душой, душа должна быть такой же сияющей, как борода рабби Элиагу.

Шахна ломал себе голову, стараясь вспомнить, какой из его грехов (а кое-какие грехи за ним числились) возмутил их незапятнанную совесть.

Может, кто-нибудь донес, что его влекут к себе женщины, что он может, не отрываясь, смотреть на какую-нибудь обольстительную польку-продащицу в лавке купца Рытмана, торгующего, как гласит вывеска, «всеми сортами круп, фасоли, пшена, кофе, шоколада и масла прованского, деревянного, подсолнечного, крахмала и синьки», или на работницу с соседней табачной фабрики Плоткина? Может, виноват Спиноза, которого он тайком почи-тывает и прячет под подушку? Спиноза – вероотступник, Спиноза отлучен от еврейства, но Шахне страсть как хотелось узнать, за что его отлучили и кто прав: он или они, его отлучи-тели?

Разве в таком любопытстве есть что-то греховное? Вера не должна быть слепой и выхо-лощенной. У веры должны быть тысячи глаз и тысячи ушей. Чтобы вера укреплялась, надо, чтобы она все видела, все слышала, все знала.

– Я читал, рабби Акива, вероотступника Спинозу.

– Это грех не столь большой руки. Спинозу, сын мой, и я читал... и рабби Элиагу.

Рабби Элиагу снова всколыхнул свое молоко, окунул в него свой непорочный взгляд, выражая свое полное согласие.

– Не думал ли ты, Шахна, о женщине?

– Думал, рабби Акива... О матери своей думал.

– Я тебя про мать не спрашиваю.

– И еще про продащицу в лавке купца Рытмана, где продают прованское масло.

– Лучше бы ты, сын мой, про масло прованское думал.

Рабби Акива старался все вывести окольным путем, чтобы не унижить Шахну, в душе он не верил, что Дудак, этот самородок с берегов Немана, может быть повинен в столь непри-глядном, столь недостойном деянии, о коем в своем доносе сообщает неизвестный благоде-тель, подписавшийся звучным титулом: «Один из тридцати шести праведников».

– Тыс ней... с той продащицей не имел дела... не приводил ее сюда?

– Нет, рабби.

Шахна с удивлением смотрел на обоих стариков, и в душе у него шевельнулось смут-ное подозрение против Бенъямина Иткеса, жившего с ним в одной комнате и знавшего неко-торые его невинные секреты.

– Если сам не хочешь покаяться, мы будем вынуждены... – пропел рабби Акива.

– Что?

– Проверить твоё ложе.

– Ложе? Пожалуйста – проверяйте.

Рабби Акива откинул одеяло, устался на простыню, то же проделал рабби Элиагу, подойдя вплотную к кровати и близоруко щурясь.

– Рабби Элиагу, вы что-нибудь видите? – спросил рабби Акива.

– Ничего, дорогой Акива.

Шахна весь горел. Стыд и возмущение подпалили щеки, а внутри полыхал костер, от которого, казалось, занимались и волосы.

– Что вы там ищите?!

Шахна это не сказал, а выкрикнул, вложив в свой вопль всю свою растерянность, все свое горькое и незаслуженное унижение.

Но горше, чем унижение, было его разочарование. Рабби Акива и рабби Элиагу – све-тила на небосклоне его юности, белые птицы, прилетевшие оттуда, где восседает Всевыш-ний, столпы мудрости – рухнули, померкли, распались. Потухшие и ошипанные, стоят они

перед ним, зеленым юнцом, поверившим в их непогрешимость. Непогрешимость? Лезть в чужую кровать?

– Что вы там ищете?

Это был уже не вопрос, а вызов.

Мы, Дудаки, не любим, когда к нам лезут в душу, за пазуху, в кровать, немо кричал он. Мы, Дудаки, можем и не стерпеть унижения, можем – сохрани и помилуй Всевышний – ударить по рукам, плюнуть в глаза, взять за шиворот и выставить за дверь – если надо, то и самого царя.

Рабби Акива и рабби Элиагу переминались с ноги на ногу. Наконец простодушный, наивный, беломолочный рабби Элиагу, о котором говорили, что он и с собственной женой не согрешил, молвил:

– Мы ищем след от семени.

– Какого семени? – опешил Шахна.

– Твоего, – объяснил рабби Акива.

Шахне никогда бы в голову не пришло, что имя тому, что они ищут, – семя.

– Как же вы можете?!

Он воскликнул это так пронзительно, что старцы съежились.

– Мы... к нам... нам подкинули письмо... тайное... без фамилии...

– О чем?

– О том, что оскверняешь рукоблудием свое ложе.

Шахна вылетел из комнаты, бросился в темный каньон коридора, опрокидывая на пути стулья, скамьи, толкая своих однокашников, не успевая извиняться, и через некоторое время вернулся с добычей. Коренастый, приземистый Беньямин Иткес бился в его сильных руках, брыкался, плевался, обзывая Шахну всякими недостойными словами, тяжело дышал, и, казалось, вонь предательства обдавала не только Шахну, но и почтенных старцев.

– Вот! Вот!

Шахна поставил Беньямина Иткеса, как ставят огородное пугало: стой и не шевелись.

Рабби Акива страдальчески смотрел на Беньямина Иткеса, тот отводил от учителя свои маленькие, как вишневые косточки, глаза.

– Ты писал этот навет? Ты видел, как он занимается рукоблудием?

Рабби Акива вытащил из кармана, как из недр земли, белый листок, разглядел его, положил перед Иткесом:

– Это ты один из тридцати шести праведников?

– Нет. И никаких наветов я не писал. Какое мне дело, занимается ли Шахна рукоблудием, напрасно извергает ли свое семя на землю или бегаёт на Погулянку к проституткам, или ходит в лавку к купцу Рытману глазеть на продавщиц.

Рабби Акива не перебивал его, с тем же страдальческим выражением на лице слушал, потом взял со стола перо, протянул Иткесу и сказал:

– Пиши!

Беньямин покорно взял перо, обмакнул его в чернильницу, и рабби Акива продиктовал:

– Я, Беньямин Иткес, возвел напраслину на своего друга Шахну Дудака...

Заржавевшее перо, скрипя, скользило по бумаге, старцы наставительно качали своими непорочными головами. Беньямин Иткес, как-то странно съежившись, сидел за столом, закапанным свечным воском и семинаристскими грезами, постель Шахны была разворочена, беспорядок в комнате соответствовал его смятению, его странной, все усиливающейся растерянности, как будто не он пострадал от навета, а другой, тот, склонившийся над белым листом бумаги, как над простыней. Чем дальше, тем больше Шахна жалел своего товарища, и в душе у него свет смешивался с мраком, презрение с состраданием, как ранней осенью в пожухлой листве смешиваются увядание и цветение. Шахне хотелось броситься к нему,

вырвать перо, разорвать в клочки бумагу, поджечь ее и пепел развеять над непорочными головами старцев, попросить у Иткеса прощения, а потом, запершись в синагоге мясников, молиться, молиться, молиться. За всех обиженных богом: за рукоблудников и доносчиков, за старцев, потерявших вкус к жизни, и молоденьких продавщиц с губами сочными, как прованское масло.

Шахна не понимал, зачем святым старцам понадобилась расписка Иткеса, что они собираются с ней делать.

В поведении рабби Акивы и рабби Элиагу Шахне мерещилось что-то предосудительное.

Что это? Насилие? А если насилие, то во имя чего? Во имя справедливости или корысти? Ведь такой запиской можно попрекать всю жизнь.

Нет, лучше прослыть рукоблудником, чем потворствовать несправедливости, лучше самому страдать, чем заставлять страдать ближнего своего. Может, Иткес и впрямь невиновен?

И Шахне вдруг сделалось неловко за свою силу, за свои руки, которые намертво схватили Иткеса, подняли в воздух и понесли по темному коридору училища навстречу скорому и неправому суду.

Долго, очень долго Бенъямин выводил свое покаяние. Он колдовал над каждой буквой, над каждой строкой, как колдует писец над свитком Торы.

Наконец Иткес повернул голову, посмотрел на Шахну беспомощно-ненавистным взглядом, и этого взгляда – взгляда истекающей кровью кошки – было для Шахны достаточно, чтобы все у него внутри перевернулось, Шахна непривычно громко кашлянул и неожиданно, боясь опоздать, сказал:

– Это не навет, рабби Акива. Это правда.

– Что?

Вопрос старца рассек воздух, и комнату словно поделили надвое: на благочестивую и нечестивую половину, но Шахна уже не понимал, на какой находится.

– Это правда, – повторил он.

Рабби Акива и рабби Элиагу опешили, переглянулись, дружно потеряли бороды. Что правда? Это не укладывалось в их непорочных, в их не оскверненных греховными мыслями головах, это сомнением отразилось в их взглядах, не блуждавших по огненной пустыне плоти, не плутовавших по лавке колониальных товаров купца Рытмана в поисках обольстительной польки. Только что этот богатырь, этот умник с берегов Немана готов был за навет искромсать, раздавить этого шептуна, этого дождевого червя Бенъямина Иткеса, и вдруг такая перемена?

Но Шахна был тверд в своем решении оговорить себя во имя сострадания, оболгать во имя любви к ближнему, признаться в том, чего он никогда не совершал, во имя высшей справедливости! Господь послал ему это испытание, чтобы убедиться в его, Шахны, способности жертвовать собой, унижать себя ради других. Только выдержит ли он это испытание, когда через часок в трапезной задымит грязный слушок:

– Шахна – рукоблудник!

– У Шахны – рука невеста!

– Правая или левая?

– Одну ночь – одна, другую ночь – другая.

– Рукоблудник!

– Рукоооо!

Бенъямин Иткес перестал писать, самовольно скомкал свое вынужденное признание, бросил его под стол, воткнул перо в чернильницу, рабби Акива посмотрел на рабби Элиагу, и

они смущенно, не сказав ни единого слова, удалились из благочестивой половины комнаты, оставив своего лучшего ученика Шахну Дудака и Беньямина Иткеса с глазу на глаз.

Как только за старцами закрылась дверь, Беньямин Иткес обхватил руками лицо и заплакал.

Он рыдал и сквозь рыдания судорожно, давясь словами и слезами, повторял:

– Они все равно не поверят... все равно... Зачем ты это сделал?

Шахна скреб пером чернильницу.

– Я не стою твоего мизинца... Но я не писал... Чтобы я так жил... чтобы не сойти мне с этого места... чтобы гореть мне в пекле!

– Но ты рылся в моей постели?... Ведь рылся?

– Я Спинозу искал... Спинозу...

Рыдания Иткеса стали еще громче, плечи тряслись, из носа текла противная немужская струйка, он то и дело смахивал ее рукавом, но струйка выползала из ноздрей, и Иткес размазывал свою слабость по щекам и по подбородку.

Казалось, он оплакивает что-то большее, чем эта провинность.

Шахна терпеливо ждал, пока Иткес успокоится, рыдания постепенно затихли, теперь Беньямин посапывал только насморочным носом, картошкой прилепившимся к невзрачному лицу.

– Но я не писал... Когда ты рассказал мне про эту польку из лавки Рытмана, я в мыслях... уложил тебя с ней сюда... на эту постель... Я хотел... мне хотелось, чтобы и у тебя был хотя бы один порок...

– А откуда ты взял, что у меня их нет?

– Я хотел, чтобы и тебя за что-нибудь недолюбливали. Как и меня...

– За что же тебя недолюбливают?

– За все. За наружность. За произношение. За то, что в трапезной первый сажусь за стол и последним встаю из-за стола. За то, что у меня горб.

– Горб? Никакого горба я не вижу.

– А другие, Шахна, видят. Видят даже то, чего нет.

Он все это выговорил быстро, искренне, как бы освобождаясь от приписанной ему вины и каясь в том, в чем никто его не обвинял.

– Я хотел, чтобы ты, Шахна, был, как все... не строил из себя святого.

– По-твоему, людей равными делают не добродетели, а пороки?

– Да... На одинаковых пороках держится все. Пороки – клей жизни.

– Пороки – клей жизни? Как же ты с такими мыслями собираешься служить Богу?

Беньямин исподлобья глянул на Шахну, брови его, белесые, тонкие, как нитка, сдвинулись на переносице, он заговорщически улыбнулся скорее ответу, чем Дудаку, однако свой ответ не спешил выпускать из гортани, где он как бы созревал.

– А что такое, Шахна, бог? Разве не наша тоска по невозможному, не сожаление о пороках, которые никому – ни тебе, ни мне, ни этим старцам изжить не дано? Разве не крик горбатов, чтобы их избавили от горба – существующего или несуществующего?

Шахна не был готов к такому повороту в разговоре. Каким злоязычным ни был Иткес, молодой Дудак все-таки верил, что в раввинское училище его привели не злоба, не зависть, а желание приносить добро, сеять среди своего народа семена благочестия и просвещения. Шахна убеждал себя, что перед ним несчастный, одичавший от сиротства человек, что их соседство неслучайно, что Бог дал ему Иткеса в руки, как глину, из которой он, Шахна, должен вылепить другое существо.

– Когда мы, Шахна, обзаведемся женами и детьми, мы будем чаще думать о лавочнике, чем о Боге. Потому что лавочник – вот он, рядом, ему за все блага плати чистоганом, а Бог... Где он, твой Бог, Шахна?

– Во мне.

– Смотри, Шахна, не объеешься им. От святости, как и от блевотины, задохнуться можно.

Иткес заболтал ногами, принялся гонять ими клочки своей расписки по полу; он и не заметил, как Шахна встал с кровати, как зашел ему за спину, сжал руку в кулак, собрался было ударить по рано облысевшей голове Иткеса, на которой, как черная лилия, плавала ермолка, но укусил себя за кисть.

– Ну, что ты медлишь? Ударь меня!

Шахна на минуту обмер.

– Знаешь, о чем я мечтал в детстве?... Ты никогда не поверишь, Шахна. Я мечтал быть жеребенком... Жеребенка никогда не бьют, ни спереди, ни сзади, на него никто грубо не покрикивает. Для него не существует ни ругани, ни кнута до тех пор, пока он не становится взрослой лошадью, пока его первый раз не запрягут. Господи, сколько их ходит вокруг – взрослых, запряженных лошадей, чьи спины облезли от ударов, чьи ноги задубели от грязи, чьи крупы изъязвлены болячками, чьи гордо развевающиеся гривы превратились в пучок паршивой пакли? Не хочу быть ни раввином, ни лавочником, ни праведником, ни доносчиком, хочу быть жеребенком, бежать по дороге, лягать слепней и ласточек, сверкать копытцами, купаться в озере... Понимаешь, Шахна?

Шахна слушал его, не перебивая, и в глазах у него стояли не слезы, а озерная влага, и зрачки его расширялись от жалости и удивления до размеров озера, и в том озере купался вольный счастливый жеребенок – Беньямин Иткес, вода ласкала его круп, его лоснящиеся бока, а до берега было столько, сколько от земли до луны, а может, его и вовсе не было, этого берега взрослых запряженных лошадей?

Через неделю Беньямин Иткес повесился в нужнике раввинского училища. Его вынули из петли, свитой из ритуальных ремешков – филактерий.

Похоронили его на старом Антокольском кладбище, там, где обычно предавали земле сумасшедших и убийц.

За день до своей смерти Беньямин Иткес в трапезной сказал Шахне:

– Прости меня... Вся моя вина в том, что я никогда не был жеребенком... я сразу родился старой лошадью.

Когда его хоронили, дождь лил как из ведра. Шахна стоял у ограды, под черным зонтиком и шептал слова молитвы. Они были мокрыми, как его лапсердак, как кладбищенская трава, как каменные надгробия. Какая-то назойливая – мокрая – мысль не давала ему покоя. В ту минуту он не мог понять, что это – то ли скорбь по безвременно ушедшему Иткесу, не захотевшему бежать ни в чьей упряжке, то ли смутное чувство вины перед покойником, то ли что-то другое, доселе не томившее душу. Наконец мысль набухла, как почка, и проклюнулся горестный листок смысла, который предвещал не весну, а осень, не успокоение и умиротворение, а еще больший разброд и сумятицу.

Смерть Беньямина Иткеса, этого шептуна, этого дождевого червя, поколебала какие-то незыблемые устои, выбила у Шахны из-под ног почву, и без того не очень еще затвердевшую. В душе царил хаос, и в хаосе четче, чем сердцебиение, слышен был цокот копыт; бежал вольный счастливый жеребенок, опрокидывавший на своем пути все; в страхе от него разбегались и рабби Акива, и рабби Элиагу, и он, Шахна, а жеребенок догонял их и догонял. Чем больше Шахна задумывался над добровольным уходом Беньямина Иткеса из жизни, тем резче вырисовывалась его вина: не доглядел, не уберег. Сперва заклеил позором, потом унизил своей деспотической добротой.

Терзаясь от бессилия, Шахна поклялся, что когда-нибудь – когда заработает много денег – он обязательно позаботится о надгробном камне для сироты Иткеса, чтобы все знали – тут лежит не шептун, не дождевой червь, не чирей на теле человечества, а человек. Если

отец Эфраим к тому времени будет жив, Шахна привезет его из местечка в Вильно, покажет, где похоронен Бенъямин Иткес, и попросит сделать надгробие. Отец не откажет ему.

Запершись в своей комнате или уединившись где-нибудь на лоне природы, чаще всего в Ботаническом саду, на берегу стремительной и строптивой Вилейки, он размышлял над смыслом жизни, собственной и всеобщей, не разделяя ее на богатую и бедную, не противопоставляя, а стремясь найти взаимосвязь и взаимозависимость, размышлял над тем, что занимало его еще в детстве, в хедере: как убавить зло и приумножить добро, почему зло одерживает верх даже там, где о добре толкуют день и ночь, где его орошают высокими словами? Порой его охватывало состояние глубокого и непролазного отчаяния, и тогда все: и рабби Элиагу, и рабби Акива, и даже – вымолвить страшно – Бог казались ему соучастниками зла, творимого в мире на каждом шагу. В такие минуты ему мнилось, будто он слишком долго готовится к совершению добра, будто своим желанием как можно больше узнать отделяется от тех, кто за стенами раввинского училища бедствует и страдает. В своем угнетении и отчаянии он не раз доходил до крайностей. Мы – дождевые черви, шептал он, бывало, какому-нибудь прибрежному клену или раките, мы – старые лошади, не знавшие молодости, мы – народ-старик, и это в то время, когда вокруг процветают, набирают силу народы-юноши и народы-мужи. Мы – рукоблудники, только руки наши осквернены не собственным семенем, а семенем греха и порока, ибо мы сжимаем их в кулаки не тогда, когда перед нами князя зла, а какой-нибудь вилкомирский сирота Бенъямин Иткес, малявка, дождевой червь, до срока запряженный жеребенок.

Как усердно ни молил Шахна Господа о даровании ему твердости, ниспослания покоя и благодати, Всевышний не внял его мольбам, обрекая его на все новые и новые испытания. Он не может всем сразу помочь. Каждый день, каждый час, каждую минуту с тысяч уст слетает его имя. Неверующие, и те просят его о помощи. Надо ждать, ждать, ждать. Он услышит.

Особенно тяжело приходилось ему по ночам, когда ни с того ни с сего тихо, без скрипа отворялась запертая на ключ дверь (Шахна сам запирает ее перед сном, а ключ, как и Спинозу, прятал под подушку) и в комнату входил висельник Бенъямин Иткес. Он приходил почти каждую ночь – звездную или беззвездную, тихую или выюжную, в черном лапсердаке с золотыми монетами вместо пуговиц; сперва раздавался глухой росчерк крыльев (во дворе училища обитали летучие мыши), потом глубокий и протяжный вздох, как будто кто-то выпускал дух, потом не то стон жеребенка, не то мык телка, и наконец пронзительная молниеподобная вспышка света крошила темноту, освещала небеленые стены, и на одной из них от пола до потолка возникала живая, увеличенная тень Бенъямина. Шахна видел ее так же зримо и непреложно, как запотевшее оконное стекло или как огрызок зеркала, перед нетающей льдинкой которого он ржавыми, скрипучими ножницами подстригал свою пышную, в завитках, как в крендельках, бороду.

Сверкая монетами на черном лапсердаке, Иткес нагибал голову, увенчанную не шапкой, не ермолкой, а рогами жертвенного овна, и торжественно подходил к Шахниной кровати, садился в изножье, испытывая молодого Дудака долгим и утомительным молчанием.

– Чего тебе? – в испуге шептал Шахна и пытался вспомнить все заклинания, которым мать учила его в детстве – против Лилит, против Асмодея, против – если приснится – Амана, вознамерившегося истребить весь еврейский народ.

Но заклинания, отпугивавшие коварную и безжалостную Лилит, обращавшие непобедимого Амана в бегство, на Бенъямина Иткеса не оказывали никакого действия. Он продолжал сидеть в изножье кровати – получеловек, полуовн, и от его близости у Шахны коченели ноги, и сыпь метила все тело, – лодыжки, живот, грудь, шею. Казалось, посиди Бенъямин до утра, и Шахна покроется, как пруд графа Завадского, толстым слоем сизого льда, который никому не удастся сколоть. В страхе Шахна натягивал на голову одеяло, но и там, в теплой, застойной темноте, образ Бенъямина Иткеса, его неправдоподобно большая тень на стене,

черный лапсердак, витые рога не исчезали, а, наоборот, приближались, проникая через толстый слой пуха и перьев.

– Чего тебе?

В самом деле – чего ему надо? Разве он, Шахна, повинен в его гибели? Видит бог, он хотел спасти его, хотел приблизить к себе, сделать своим другом, исцелить от ненависти, а тот взял и стал оборотнем, мстящим ему, Шахне, бог весть за какие грехи.

Как он себя ни успокаивал, как ни высмеивал днем, при свете тароватого солнца, свои страхи, Беньямин Иткес являлся по ночам, садился на край кровати и до рассвета застывал в той же позе – безгласный, безглазый, глухой. Но Шахна готов был поклясться, что Беньямин слышит все: и его голос, и его дыхание, и даже удары кирки – сердца, пытающегося прорубить темноту и от полусна и полуяви пробиться к чему-то избавительному и непотустороннему.

Однажды испуганный до смерти Шахна вскочил с кровати и в исподнем, схватив подушку, бросился к двери.

Но дверь, та самая дверь, которая только что была открыта, не поддавалась...

Шахна кинулся за ключом, однако же и ключ исчез, улетучился, испарился, уполз, как таракан.

– На! – протянул ему ключ Беньямин Иткес и вложил в протянутую руку.

Шахна лег на лавку в коридоре, но и там всю ночь до утра его подстерегал вездесущий, молчаливый Беньямин.

В другой раз воспаленный взгляд Шахны увидел, как Беньямин Иткес стоит у платяного шкафа.

Открыл шкаф, достал талес, подаренный Шахне мудрейшим из мудрых рабби Элиагу за прилежание и безупречное поведение (Шахна знал назубок все Пятикнижие), накинул на плечи, намотал на руки филактерии и с той же торжественностью, с какой вошел, медленно направился к выходу.

Шахна вжался в стену, прислушался – вкрадчивые, шершавые, как у парнокопытных, шаги Беньямина Иткеса еще долго не умолкали. Жалобно поскрипывала незатворенная дверь, и слышно было, как за окном крупными каплями сеется дождь.

Ушел!

Шахна обернулся, глянул в окно – во дворе было мокро и безлюдно, изредка царапая намокшее домотканое сукно неба, пролетали летучие мыши, неприкаянные городские ангелы – и на заледеневших ногах направился к распахнутому шкафу, где держал свои молитвенные принадлежности и убогую одежду. До последней минуты он не верил, что Беньямин Иткес, этот получеловек-полуовн, может опустошить его шкаф, унести его вещи, но в шкафу ничего, ничегошеньки – ни талеса, ни филактерий – не было.

Шахна набросился с кулаками на шкаф, стал колотить по его обшарпанным двустворчатым дверцам, но только испугнул рой голодной моли.

Моль кружилась над ним, как пыль над мишкинским большаком, и ее кружение успокоило Шахну.

Уже брезжило, когда он во сне нашарил под подушкой шофар – рожок для трубления во время праздника Рош-Хашана. Рожок был единственной собственностью Беньямина Иткеса, только он почему-то его не трогал.

Шахна приложил рожок к губам и затрубил в надежде отпугнуть навсегда злых духов. Он трубил, трубил, трубил, пока не проснулся.

Что это – сон или не сон: и Беньямин Иткес, получеловек-полуовн, и украденный талес, и филактерии, и дождь, и летучие мыши во дворе училища, и липкий страх, такой липкий, что, сядь на Шахну муха, она бы не взлетела.

Конечно, сон. В детстве ему тоже снилась всякая чертовщина. Он вскакивал среди ночи с постели, с криком бежал к выходу; перепуганный отец ловил его, как ловит пастух отбившуюся от стада овцу, мчащуюся к гибельной топи. После таких сновидений Шахну трепала долгая и жестокая лихорадка. Эфраим водил сына к рабби Ерухаму, знахарю и отгадчику снов, но рабби Ерухам только пожимал плечами:

– У твоего Шахны, Эфраим, голова не ребенка, а взрослого. Она у него растет быстрее, чем все его члены. Он уже видит то, что в таком возрасте не должен бы видеть.

Странно, но во сне он всегда видел себя виноватым и гонимым. Шахна не мог объяснить, почему он видел такие сны. Может, оттого, что он рос без матери. Мать умерла, когда он был совсем маленький. Шахна ловил у могильной ямы мотылька, а мотылек гонял его от одного края до другого, как будто рядом не было ни этой свежей глины, ни этих бородачей, ни этих плачущих в голос женщин.

Как ему хотелось, чтобы и Бенъямин Иткес был только сном. Но по страху, выхолащивающему душу, по непривычному, неожиданному, потустороннему скрипу дверей, по запотевшему от дыхания оборотня оконному стеклу – даже утреннее солнце не в силах было высушить это стекло – Шахна чувствовал: не сон это, нет, не сон.

День за днем, целую неделю подходил он к шкафу, заглядывал внутрь: ни талеса, ни филактерий там не было.

Замкнутый и скрытный, мнительный и суеверный, Шахна не имел привычки жаловаться. Дома, в Мишкине, и то скрытничал. Считал, что мужчина как омут: чем тише, тем глубже. Но тут не выдержал, рассказал рабби Элиагу, только о пропаже подаренного им талеса и филактерий умолчал.

– Тебе приснилось.

Таков был ответ почтенного старца, но его ответ не удовлетворил Шахну. Так, пожалуй, любое необъяснимое или неосоздаемое явление можно объявить сном. Разве Бог – не сон, навеянный человечеству? Разве жизнь – не сон, который кончается другим сном – смертью? Нет грани между сном и явью, как нет ее между небом и землей.

– Молись, Шахна, и Господь смилостивится над тобой и над твоими снами, – сказал благочестивый рабби Элиагу. – А грешников он покарает.

Молиться? Шахна пробовал, но тщетно.

Молитвы не отпугивали Бенъямина Иткеса, а даже привораживали. Интересно, что сказал бы почтенный рабби Элиагу, узнай он всю правду, расскажи ему Шахна про пропажу талеса и филактерий. Сказал бы – приснилось, привиделось, померещилось! Он, Шахна, воочию видел вора, видел, как висельник Бенъямин Иткес накинул на плечи чужой подарок – талес, надел на левую руку филактерии и – дай бог ноги. Он у него и ключ стащил! Есть, рабби Элиагу, что-то недоступное уму, особенно уму взбаламученному, возмущенному, не такому – да простится мне такая дерзость, – как ваш. Ведь и сам Бог такая же загадка, как мы... как Бенъямин Иткес. Будь он, вседержитель, доступен, как лавочник или брадобрей – кому бы он был нужен? И потом с виновными – а человек всегда перед кем-то виноват, – с виновными все может случиться. Все. Вина порождает оборотней, безумцев, ясновидцев.

– Я переселю тебя, Шахна, в другую комнату. К Пекарскому.

Рабби Элиагу так и сделал.

Но и на новом месте в первую же ночь повторилось то же самое – бесшумно появился Бенъямин Иткес, прошел через всю комнату и примостился в изножье кровати.

А через день – и вспомнить-то страшно! – Шахна учуял в своей комнате непотребный, зловонный запах. Он шел откуда-то со стороны шкафа, может, из самого шкафа, накатывая тошнотворной волной и распространяясь даже в коридоре. Сперва Шахна подумал, будто какой-нибудь семинарист-пакостник справил где-нибудь за шкафом большую нужду: обыскал все углы, залез под кровать, распахнул двустворчатую дверь шкафа, принялся.

Пахло!

В шкафу лежал сверток.

Шахна дрожащими руками взял сверток, сглотнул тошноту и, преодолевая брезгливость, вынул из него свой талес и филактерии.

Жуткая вонища ударила в нос. Казалось, его молитвенные принадлежности только что извлекли из нужника, где напители нечистотами и смрадом.

Воровато оглядываясь, Шахна бросился во двор, к рукомойнику, сунул под сосок свои ремешки и куском зачерствелого мыла принялся с остервенением отмывать.

– Ты чего там моешь? – окликнул его рабби Элиагу.

Какой позор! Какой срам! Подарок почтенного рабби в дерьме, в обыкновенном дерьме! Кто же посмел напитать его вонью выгребной ямы и подбросить ему?

Кто?

Неужто мстительный, неуловимый оборотень – Беньямин Иткес?

Нет, призраки и демоны испытывают душу, а не обоняние.

Шахна надеялся выследить, подстеречь злоумышленника. Один и тот же человек настроил донос и осквернил подарок рабби Элиагу. Попадись он только ему в руки, мерзавец!

Шахна часами простаивал за углом дровяного сарайчика, в опасной близости от нужника, пропуская душеспасительные беседы с рабби Акивой или учителем русской словесности Гавриилом Николаевичем Бросалиным, который души в нем не чаял и предрекал ему блестящее будущее на журнальной и газетной ниве, стоял и ждал, когда появится он, его лютейший недруг. Должен же он себя выдать каким-нибудь схожим поступком.

Но слежка ни к чему не привела.

Шахна испытывал еще более мучительные сомнения и угрызения совести.

Чем он занимается? Вместо того чтобы внимать слову учителей, охотиться на гордую олениху мудрости, он простаивает у нужника, отслеживает беспардонных негодяев, причинивших ему столько страданий.

Его подозрения снова перекинулись на Беньямина Иткеса. Это он спер все вещи и окунул их в нужник или выгребную яму, это он по наущению демона морочит его, любимчика рабби Элиагу и рабби Акивы. Пусть, мол, не задастся, пусть не мнит из себя святого, пусть будет такой, как все.

Поймать злоумышленника не удавалось, постоянные дежурства у нужника вызывали смешки семинаристов и сочувственные вздохи старцев, и Шахна, к стыду своему, стал подозревать всех. Каждое лицо казалось ему маской, за которой скрываются низость и обман.

Мысли Шахны вдруг лишились чистоты, поблекли, покрылись, как раны, коростой, нагноились. Он даже усомнился в правильности своего выбора. Надо было остаться в Вилькии, в конторе Фрадкина, жениться, стать купцом.

Беньямин стал приходить все реже и реже. То ли насытился местью, то ли смилился над ним. Он уже больше не садился в изножье его кровати, не чесал витые рога о стену, не вглядывался, стоя спиной к Шахне, в окно, в сумрак, не пересчитывал летучих мышей, шелестевших своими руками-крыльями.

– Признайся, Беньямин. Это ты... ты вывалял в дерьме мой талес? – выдохнул однажды Шахна.

– Это ты, – послышалось в ответ.

– Это ты его мне подкинул?

– Это ты.

Беньямин Иткес, казалось, состоял из глухого недоброго эха. Слова Шахны возвращались к нему в том же порядке, в той же последовательности, в какой он их произносил, но звучание их утраивалось и удешевлялось.

Ни молитвы, ни прогулки перед сном, ни тщательное проветривание комнаты не помогли. Талес и филактерии по-прежнему пахли испражнениями, зловоние не улетучивалось, не пропадало, накатывало снова и снова, и Шахна чувствовал, что сходит с ума.

В одно прекрасное утро, когда все училище еще спокойно и сладко спало, он выскользнул за дверь и, держа под мышкой сверток, быстро зашагал к полноводной Вилии.

От раввинского училища до реки, рассекавшей Вильно на две неровно застроенные части, было полчаса ходьбы, не больше. Надо было спуститься по Большой улице, миновать квартал, густо заселенный еврейской беднотой, мелкими торговцами и лавочниками, выйти на Кафедральную площадь и, поднявшись вверх, недалеко от костела Петра и Павла свернуть вниз.

В широком и темном, как нора, кармане лежал кусок казенного мыла! Скорей, скорей! Шахна постирает талес, высушит его, развесит на какой-нибудь прибрежной раките, а сам ляжет в нагретую траву, и солнце – «печь Господа» – согреет его душу, выжжет из нее страх, и вместо него в нее хлынут воспоминания о той беспечальной поре, когда не было ни кошмаров, ни призраков, а был отец, тяжелорукий, бородатый, был легкий пятнистый мотылек над свежевырытой могилой матери, был долгий нескончаемый день, когда даже розги, которыми его, мальчика, секли в хедере, плодоносили, как яблони.

Шахна прошел мимо Орловского банка, поглазел на высокие окна, забранные железными решетками (рабби Элиагу говорил, будто виленский богач Опатов держит там свои миллионы).

От Орловского банка Шахна свернул к Турецким булочным. В Вильно не было булочек вкусней и душистей, хотя тот же рабби Элиагу строго-настрого запретил их употреблять, объявив трэфными и мстя владельцу-турку за Палестину.

Шахна пересек рельсы конки. Надо же – он еще ни разу на ней не ездил. Беньямин Иткес (вспомнив о нем, Шахна оглянулся, принялся, не пахнет ли от него) выхвалялся, будто катался на ней с барышней и усатым городовым. Городовой якобы улыбался Иткесу. Но Беньямин, видно, привирал. Слыханное ли дело, чтобы городовые улыбались евреям, да еще пейсатым и длиннополым! Обычно евреи улыбаются городовым.

Шахна искал уединения, поднимаясь по берегу вверх туда, где зелени побольше и река поглубже.

За Шнипишками открывался совсем другой, чем в городе, простор, и воздух тут был другой – такой, как в Мишкине, над Неманом. С тех пор как Шахна уехал из местечка сперва в Вилькию, потом в Вильно учиться, он не дышал такой благодатью. Казалось, тут не только одежда, не только избы отбеливались добела, но и перекрашивалось в белый цвет то, что не имеет ни облика, ни плоти. Каждая травинка ластилась к ногам и упрашивала лечь, забыться.

Вилия тихо несла свои воды вниз, к горе, к руинам княжеского замка, построенного могущественным Гедимином. Если бы кто-нибудь – ну тот же учитель русской словесности Гавриил Николаевич Бросалин – сказал сиятельному князю, что через шесть веков в Вилии будут поить не княжеских рысаков, а стирать еврейские одежды, Гедимин навряд ли заложил бы на берегу этой элегической реки свой город. Но нет на свете князя сильнее, чем время, и нет реки полноводней, чем воды забвения.

Шахна разделся, снял лапсердак, штаны, расстелил их на траве, придавил камнем, чтобы не унес ветер, разулся, потер пригретую солнцем грудь, на которой чернели невинные кудельки волос, еще не взъерошенные ни одной женщиной, взял мыло, талес, забрел в воду, намылил молитвенное покрывало, выстирал, развесил на прибрежной раките и, зажмурившись, растянулся в высокой, никем не примятой траве. Он лежал, прислушиваясь к дуновению ветра, к домовитому гудению шмеля, к журчанию воды, лениво плескавшейся о заросший кустарниками берег. До слуха его доносилось то блеяние козы, то мык теленка. Шахна не видел их, и на миг ему померещилось, будто блеют они и мычат не на земле, а в облаках.

Может, так оно и было. Он и сам был там, в недостижимой вышине, неся по небу маленьким перистым облаком, чей ход причудлив и непредсказуем. Все вокруг навевало печальное, возвышенное спокойствие. Даже муравей, сновавший по его шее – необозримому континенту, – доставлял тихое и щекотное удовольствие.

Шахна вспомнил, как он приходил сюда на праздник Рош-Хашана топить грехи. В позапрошлом году они топили их вместе с Беньямином Иткесом.

– Мне нечего топить, – жаловался Шахна.

– А у меня их много, – хвастался Беньямин.

– Бабушка Блюма говорила, что к каждому нашему греху подплывает большая рыба и проглатывает его.

– А мы?

– Что мы?

– А потом мы вылавливаем эту нафаршированную грехом рыбу и съедаем, – громко смеялся Иткес.

Воспоминание о Беньямине Иткесе, получеловеке-полуовне, опалило Шахну стыдом и печалью. Хотелось лежать, лежать, не двигаться, не шевелиться, ни о чем не думать – ни о прошлом, ни о будущем, ни о грехах, ни о добродетелях, а только о детстве, об этой большой рыбе, которая поднимается со дна и тарасит на тебя до конца твоей жизни свои всевидящие, свои безгрешные глаза.

И вдруг эту тишину, эту благодать пронзил истошный крик о помощи:

– Спасите!

И через мгновение оборванное, безнадежное:

– Спаси!..

А еще через мгновение только один-единственный, бессмысленный, начиненный предчувствием смерти слог:

– Спаа!..

Первой мыслью Шахны было: снова Иткес, снова его соглядатай и мучитель.

Шахна вскочил, словно стряхнул с себя льняные очесы сна. Огляделся.

Из-за ракиты высунулась голова теленка с большими желтыми, как спелый подсолнух, ушами. После некоторого раздумья он двинулся к незнакомцу, ткнулся мордой в его спину, облизал своим льдистым языком.

Шахна вздрогнул от прикосновения, но тут снова услышал:

– Спаа...

На самой стремнине Шахна увидел мальчугана, который то выныривал, то погружался в воду, хрипел, отплевывался, неистово бил руками, как бьет плавниками попавшаяся на смертельный крючок щука, но река была сильнее его неистовства, тянула на дно, и у тонущего не было, наверно, уже сил сопротивляться ее упорству и натиску.

Шахна бросился в воду.

Он загребал широко и мощно. Еще там, на родине, в Мишкине, он плавал как рыба – в семь лет, не отдышавшись, перемахивал через Неман на германский берег – туда и обратно.

Шахна настиг мальчика, вытолкнул его из воды на поверхность и, поддерживая левым плечом, попытался свободной рукой выбраться из водоворота.

Но водоворот сцапал жертву и снова потянул в бездну.

Шахна нырнул на дно, вцепился в несчастного и, отталкиваясь от течения, как от стекла, безостановочно задвигал ногами, прорываясь из бездны на поверхность воды.

Теперь уже он не отпускал мальчугана и, фыркая, как лошадь, греб к берегу, где задумчивый теленок жевал талес – бесценный подарок почтенного рабби Элиагу.

Весь низ молитвенного покрывала был изжеван и напоминал измочаленную половую тряпку.

Беньямин Иткес, мелькнуло у Шахны, и ноздри его снова раздулись. Но на сей раз пахло тиной, рыбьей чешуей и нагретой сосновой хвоей.

Несчастливого мальчугана рвало. Он блевал на траву, на солнечные лучи, которые вместе с вереницей муравьев сновали между ее стеблей. Видно, муравьи искали своего самого храброго и пытливого соратника, смытого с недружественного континента в гибельную воду.

Спасенный мальчик посинел от холода, от ужаса, от бессознательного счастья. Шахна стоял над ним мокрый, черный, словно пришелец из другого мира.

Когда мальчуган кончил блевать, Шахна принялся растирать его худенькое, белое и нежное, как пух одуванчика, тельце, гладить его веснушчатое лицо, надавливать на веки, и вдруг оба, жертва и спаситель, встретились взглядами и во взгляде каждого были не радость, не благодарность, а растерянность, даже неприязнь.

Спасенный дрожал, едва выговаривал слова, заикался, кусал губы.

– Мой ранец.

Он оглядывался, вертел головой, что-то выискивал взглядом на другом берегу.

– Мой ранец.

Велика важность – ранец, подумал Шахна. Отец купит новый. Это не талес – погубленный подарок рабби Элиагу. Шахна его только два раза надел – на Пурим и на Пасху. Вместе с талесом меланхоличный теленок сжевал все его, Шахны, будущие праздники. Он сжевал что-то большее, чем праздники. То было началом – если не похорон, если не прощания, то пустоты и скорби. Что-то вдруг рухнуло в жизни Шахны, оборвалось, смылось, как смыло волной пытливого муравья, вознамерившегося освоить новый континент.

Тогда Шахна еще не знал, как круто все перевернется в его жизни.

Пока что перед ним был только безымянный мальчик, только живой комочек, отвоенный у смерти. Ничей. Не принадлежащий ни злу, ни добру, не суливший ни кары, ни награды. Самый обыкновенный мальчик, каких в Вильно тысячи.

Кто спасет одного человека, тот спасет весь мир, – всплыло в памяти Шахны.

Спасенный мир требовал ранца.

Хотя у спасителя и не было никакого желания снова лезть в воду, он тем не менее перебрался на другой берег и, держа ранец в высоко поднятой руке, вернул его мальчугану.

– Я боюсь один идти домой, – сказал мальчик.

– Тебя никто не тронет, – сказал Шахна. – Если мама тебя спросит, где ты был, скажи, что в стране теней...

– В стране теней?

– Скажи: она мне, мама, не понравилась... и вот я вернулся...

– Нет такой страны... нет... Есть Англия, Франция...

Мальчик сидел, обхватив руками колени, и, дрожа, глядел на Шахну, на реку, на теленка, спокойно дожевывавшего подарок рабби Элиагу.

– Моя фамилия Князев... Я живу на Александровской площади... Проводите, пожалуйста, меня, – сказал мальчик.

Князев, Грязев, Перельман – какая разница. Добро не признает ни племени, ни роду. Кто же перед тем, как спасти человека, спрашивает: кто ты? чей? откуда? Вопрошающее добро – служанка греха.

Мальчик увидел, как Шахна направился к раките, выдрал у теленка край молитвенного покрывала, потерянно подержал его в руке, словно изодранное врагами знамя, спустился по откосу к отмели, выломал палку и в податливом, зыбучем песке принялся копать яму.

– А вы... вы что делаете? – спросил спасенный Князев.

– Яму копаю.

– А что вы будете хоронить?

Мальчик не сказал «закапывать». Мальчик сказал «хоронить», и Шахна вздрогнул.

В самом деле – что он будет хоронить?

Шахна отвел мальчика на Александровскую площадь, но в дом не вошел и даже не хотел называть свою фамилию, но Князев сказал:

– Я хочу за вас помолиться... Как вас зовут?..

Просьба мальчика пришибла Шахну.

– Дудак... – пробормотал он. – Шахна Дудак...

– Я помолюсь за вас, Шахна Дудак, – прошептал мальчик и исчез за дубовой дверью.

Шахна, наверно, забыл бы и Князева, и теленка, сжевавшего талес, и странную могилку на отмели (как только отец пришлет немного денег, он купит новое молитвенное покрывало; рабби Элиагу ничего не узнает), если бы в один хмурый осенний день в раввинское училище не пожаловал жандармский полковник. Почтенные рабби Акива и рабби Элиагу робели далее перед учителем словесности Гавриилом Николаевичем Бросалиным, хотя тот и был кроток, как агнец.

– Каждый русский – наш начальник... наш царь... но не наш бог, – говорил осторожный рабби Элиагу.

Появление же в стенах училища высокого жандармского чина, да еще в мундире, при всех регалиях, повергло почтенных старцев в ужас. У рабби Акивы противно тряслись руки, а рабби Элиагу гладил свою бороду, как капризного ребенка, все время шевелил губами и, как золотые обручальные кольца, подбирая слова.

– Я ищу такого... Шахну Дудака, – сказал полковник.

– Дудака? – выигрывая время, переспросил рабби Акива. – Рабби Элиагу, у нас есть такой Шахна Дудак?

Рабби Элиагу понял рабби Акиву.

– А позвольте узнать, зачем вам, такому человеку, нужен какой-то ничтожный Шахна Дудак?

– Позвольте представиться: Ратмир Павлович Князев, – прощая старцам их лукавство, беззлобно произнес полковник. – Имею честь выразить свою благодарность...

– Благодарность? – ветер страха перестал трепать молочную бороду рабби Элиагу.

– Так точно.

Старцы переглянулись.

– Сей Дудак, как утверждают мой сын и моя супруга, спас человека!

– Скажите пожалуйста! – воскликнул рабби Элиагу. – Какой герой! Для того, чтобы выразить еврею благодарность, не грех его и из могильной ямы вытащить.

Старцы удалились и вскоре, как под конвоем, привели Шахну.

– Спасибо за Петю, – сказал Ратмир Павлович. – Жена моя... Анастасия Сергеевна все мне рассказала.

Рабби Акива и рабби Элиагу кивали головами, и в душе у них благодарность сменялась смутными подозрениями. С одной стороны, учителя превозносили Господа за то, что он заставил прийти с благодарностью не какого-нибудь городского или околоточного, а самого начальника Виленского жандармского управления, и как могли наперебой хвалили своего ученика:

– А как он по-русски говорит!.. Прямо как царь, – частил простодушный рабби Элиагу. – То есть лучше царя никто не говорит, но...

– У него не голова, а улей, в который пчелы каждый день несут взятки знаний.

С другой стороны, рабби Акива и рабби Элиагу просили Господа, чтобы не жандармы благодарили их за воспитание...

– Надеюсь, недюжинные способности вашего ученика получат надлежащее применение, и он своими знаниями послужит обществу, – Князев пожал Шахне руку и откланялся.

Подавленный, сбитый с толку жандармской похвалой, Шахна вернулся в свою келью, лег, попытался уснуть, но сон не шел. Он ворочался до самого утра, и только, когда рассвело, смежил веки.

Ему снилось, будто он стоит у кивота в Большой виленской синагоге, в наручниках, не в силах пошевелить руками, отогнать теленка, который смачно жует край молитвенного покрывала. Жует, жует, и вот уже талеса нет, вот уже теленок принимается за Шахнину сорочку, за исподнее; изжевано и оно, а теленок все причмокивает языком, вгрызается в его тело, и Шахна кричит, просит о помощи, но богомольцы виновато улыбаются, мол, прости – сами в наручниках. И впрямь вся синагога звенит кандалами, рабби Элиагу, рабби Акива, висельник Бенъямин Иткес, даже теленок, и тот прикован к нему цепью; цепь звякает, заглушая хор певчих.

И вдруг в молельню на белом коне влетает полковник Ратмир Павлович Князев с саблей наголо. Взмах саблей, и перерублены наручники, еще взмах, и покатилась на щербатый пол голова теленка. Шахна вглядывается в нее – господи, да ведь это не телячья голова, а волосатый шар Бенъямина Иткеса, получеловека-полуовна с волдырями вместо глаз.

Перед Рош-Хашаном – еврейским новым годом – Шахна ушел из училища.

Ушел, правда, недалеко – в синагогу ломовых извозчиков, устроился там кем-то вроде служки. Вместе с нищими и бродягами, ютившимися в ней, он спал на деревянной лавке, вставал раньше всех, открывал окна, измочаленной метлой подметал пол, завтракал с кем попало и чем попало, а потом до позднего вечера читал Тору или слушал рассказы нищелюбов об их странных и удивительных приключениях. Иногда он водил их в баню, заставлял друг друга хлестать березовыми вениками и, лежа с кем-нибудь на полке, порывался от удовольствия.

В припадке нежности они называли его Мейшерабейну – Моисеем пророком и другими ласковыми именами.

– Ты выведешь нас из нищеты, как вывел Моисей наших предков из тьмы египетской, – шутили они.

Шахна не собирался долго задерживаться в синагоге ломовых извозчиков, надеялся подыскать другую работу, пойти в репетиторы или на худой конец освоить какое-нибудь ремесло, но теперешняя жизнь не угнетала его, хотя и была совершенно не похожа на ту, прежнюю. И не только потому, что он меньше вникал в Священное Писание, больше думал о грешной, заплеванной земле, а потому, что в этих размышлениях почти отсутствовал тот отвлеченный, ничем не замутненный образ Бога, сопутствовавшего ему с детства. Теперь Шахна обращал свои искренние и незамысловатые молитвы не столь к нему, белобородому властелину, пребывающему в горних высях, а скорее к какому-нибудь нищему, скитальцу, озябшему от нужды и безверия.

Давно, еще в раввинском училище, он поймал себя на мысли (не она ли послужила причиной его ухода?) о том, что, барахтаясь в пучине книжной мудрости, он проворонил главное – человека, вот этих обыкновенных, забитых, погрязших в своих заботах евреев, которым собирался служить как пастырь до последнего своего вздоха. Библейские пророки, иерусалимские цари, отважные израильтяне, воевавшие с Олоферном и Аманом, почтенные рабби Элиагу и рабби Акива, даже висельник Бенъямин Иткес, получеловек-полуовн, заслонили от него тех, кто день-деньской добывал в поте лица своего хлеб, шил, тачал сапоги, мостил, как его отец Эфраим, улицы, возил воду, нищенствовал, бродяжничал, уезжал в Америку и Палестину, ловчил, угодничал, раболепствовал, торговал, менял, сносил надругательства и лишения, пытаясь обмануть судьбу или задобрить ее.

Мир под кровлей училища и мир за его окнами существовали как бы отдельно, порознь, как завязь и плод, только тут, в синагоге ломовых извозчиков, среди ее грубых неотесанных постояльцев, для которых бог был скорее лекарством, примочкой, чем необхо-

димостью, Шахна, может быть, впервые в жизни понял, что вера должна быть не щитом, не броней, а раной – только прикоснись, и она отзовется чьей-то болью. И еще одну истину тут уразумел Шахна: начинать надо в пекле, в аду, в преисподней. Тут твоя вера, твоя готовность творить добро нужны больше, чем в раю.

Шахна никогда не забудет имени бродяги, который испепелял всех собравшихся в синагоге ломовых извозчиков своей безоглядной, удивительно притягательной ересью.

– Сильные служат дьяволу, слабые – Богу.

Звали его Ошер.

– Нет, Ошер. Дьявол нужен слабым.

– Дьявол нужен всем. Он платит больше, чем Бог, – говорил Ошер, надсадно кашляя. – Я был самым честным человеком в Жослах. Над моей честностью все глумились и посмеивались. Даже дети. Они бегали за мной и кричали: «Ошер – честный дурак!» И вот однажды я решил покончить со своей честностью. Думал, думал и придумал.

– Ну и что же ты придумал?

– Я решил обмануть, обокрасть, обставить...

– Отца?

– Нет.

– Раввина?

– Нет.

Ошер затрясся от кашля, и Шахна увидел, как он собирает в платок кровь.

– Я решил обмануть самого себя. Сперва обмануть, а потом обокрасть.

– Интересно.

– Я сказал себе: «Ты, Ошер, не честный дурак, а умница, хитрая бестия, прохиндей. Я сказал себе: ты, Ошер, не бедняк, а богач, миллионщик. Ты, Ошер, не горемыка, а самый счастливый человек на свете!» Ну как, Шахна, ловко я себя обманул?

– Ловко.

– А обокрал я себя еще ловчей. Была у меня невеста. Шейнеле. Дай бог ей долгую-предолгую жизнь. Дай бог ей внуков и правнуков. Красавица. На Пасху мы должны были с ней обвенчаться, а в Суккот я украл ее у себя. Понимаешь, украл. Зачем, подумал я, ей мучаться со мной, честным дураком... С тех пор и скитаюсь один по свету... Не укради я ее у самого себя, она была бы несчастна.

Шахна молчал.

– Кому нужен такой муж – честный дурак? Да к тому же чахоточник.

– Но тогда чахотки у тебя не было.

– Чахотка что? Кровью харкаешь сам. А от твоей честности кровью харкают другие.

– Неправда.

– Ты просто боишься своей правды и потому ищешь такую, которая годилась бы для всех. Для всех годится только одна правда – смерть.

Ошер умер в разгар лета. Похоронили его на Антокольском кладбище без суеты и без слез.

Шахна стоял у могилы, слушал, как деловито позвякивает лопата гробовщика, и не спускал глаз с бабочки, кружившей над могилой. Бабочка до боли кого-то напоминала, связывала его с родиной, приближая к другому лету, к другой траве и к другим надгробиям.

Шахна долго еще вспоминал Ошера – честного дурака, его невесту Шейнеле, думал о превратностях любви, о странных, подчас диких отношениях между мужчиной и женщиной, о невидимой и невероятно прочной нити, соединяющей жизнь и смерть, прошлое и будущее, добро и зло. Он ни на минуту не сомневался, что эта Шейнеле стала дебелой купчихой и, может быть, до сих пор по-бабьи тихо и преданно любит этого честного дурака

Ошера, этого бродягу, чей прощальный поцелуй по сей день жжет ее щеку и согревает душу больше, чем золотые ее мужа-купца.

Смерть Ошера усилила его, Шахны, одиночество, его бобыльство. Умрет, и некому будет его оплакать. Отец стар, год-другой еще протянет, братья бог весть где, оба недотепы, со странностями, сестра Церта за тридевять земель, в Киеве, не кликнешь, не позовешь.

Пока Шахна учился в раввинском училище, женщины его не волновали. Другие, тот же Беньямин Иткес, якшались с какими-то девицами, белошвейками, чулочницами с фабрики Неймана, а он, Шахна, жил как бирюк, и его наложницами были только книги. Правда, обольстительная полька из лавки колониальных товаров Рытмана не выходила у него из головы, и Шахна иногда в мыслях листал складки ее длинной юбки, как книгу, но потом горячо и сбивчиво заговаривал свою плоть молитвами.

Все изменилось, когда однажды в антикварной лавке Гавронского Шахна увидел женщину, одетую во все черное, как монахиня. Руки ее, тонкие, проворные, реяли над фолиантами, как птицы над мишкинскими рощами, и Шахна старался поймать их взглядом-сачком.

Женщина стояла на стремянке и на полке, уставленной книгами, искала для него какой-то том – не то Маймонида, не то Гебирия. Пахло от нее не пылью, не клейстером – обычными запахами всех антикварных лавок и переплетных, а пронзительными заморскими духами, не вязавшимися с ее черным одеянием. Шахна впервые в жизни вдыхал такое благоухание – ни рабби Элиагу, ни рабби Акива, ни даже парикмахер Меир, приходивший два раза в месяц в училище и за скромную мзду подстригавший рыжие, черные, русые волосы будущих еврейских пророков, не пахли так сладко и неповторимо. От духов у Шахны кружилась голова. А может, она кружилась от слабости, внезапно охватившей его, от стыдного набухания в причинном месте, от неземной красоты незнакомки – дочери Гавронского. Он следил за ее неспешными плавными движениями, мысленно помогая ей и поддерживая под руки. Женщина сделала какой-то неосторожный жест, оступилась, стукнулась головой о рыжую чуприну Шахны, вскрикнула от неожиданности, извинилась, но у Шахны от ее прикосновения еще больше закружилась голова, прежние богоугодные мысли улетучились, и, как луна в полнолуние, высветилась и округлилась одна-единственная, такая, какая еще Шахну никогда не тревожила. Ему захотелось снять эту женщину со стремянки, унести отсюда, из этой лавки, набитой книгами в позолоченных переплетах, от ее отца, у которого из кармана жилета, как цепь из собачьей конуры, торчал брелок часов, и целовать, целовать до одури, до изнеможения.

Позже он узнал, что зовут ее Юлиана, что муж ее – военный доктор – погиб на Кавказе, на пути из Гудауты в Гагру, в свой полк.

Сам Гавронский был темной личностью. В Вильно говорили, будто он татарин. Он же считал себя поляком, предки которого служили ловчими при дворе короля Стефана Батория. Были и такие, которые уверяли, что Гавронский – скрытый еврей.

Шахна часами рылся в книгах и фолиантах, дышал пылью, дожидаясь Юлианы, стремясь только взглянуть на нее и ни на что не надеясь. Куда ему тягаться с военным доктором!

Каждая встреча с Юлианой опустошала его, хотя дочь Гавронского даже имени его не знала. Но он не обижался на нее. Ему было достаточно ее взгляда, наклона головы, чтобы почувствовать себя на седьмом небе.

У Торы есть соперница, думал он в такие минуты, и эта соперница – женщина.

Однажды нищелюб Файвуш Разумный, по прозвищу Мама-Ротшильд (он всех уверял, что по отцу он – Разумный, а по матери – Ротшильд), застал Шахну за странным занятием.

Задрав голову, тот ходил по синагоге ломовых извозчиков и твердил:

– Спасибо тебе, что ты создал женщину. Спасибо тебе, что ты создал женщину.

– Ты что бормочешь? – спросил Мама-Ротшильд.

– Молюсь.

– Но эта молитва звучит совсем по-другому: спасибо тебе, Господи, что ты не создал меня женщиной.

Шахна, бывало, подметет синагогу, проветрит ее и сразу же мчится на Замковую улицу, в антикварную лавку. Так женщина мало-помалу одолевала Тору.

Поначалу Гавронский полагал в нем только бедного любителя древностей, который ко всему тянется, но ничего из-за отсутствия денег не может купить.

Однажды перехватив безнадежно влюбленный взгляд Шахны, антиквар погладил свое уютное брюшко и, сообразуясь со своей привычкой говорить гадости елейным, праздничным тоном, сказал:

– У каждой твари, молодой человек, у каждой вещи на свете есть свое будущее. Вы со мной согласны?

– Да, – не вникая в смысл его слов, ответил Шахна.

– Будущее есть у этого стула. У этой стремянки. У этого шкафа. Светлое или мрачное, но будущее. Вы со мной согласны?

– Допустим, – осторожно бросил Шахна.

– Стул, скажем, сломается, его отдадут столяру и починят. Шкаф отдадут в дом призрения или в сиротский приют, и он простоит там еще двести лет. Согласны?

– Допустим, – раздражаясь, ответил Шахна. Он не мог взять в толк, куда антиквар клонит.

– Только у вас, молодой человек, будущего нет.

– У меня лично?

– И у вас лично... У вас есть только прошлое. *Прошлое*, прошу прощения за откровенность.

– Вы имеете в виду мой народ? Но его нельзя ни сломать, ни запереть в дом призрения, ни выбросить.

– Можно, молодой человек! Можно! И сломать, и запереть, и вывезти на свалку... Ваш народ, не извольте гневаться, древность, раритет... Когда-нибудь за последний экземпляр оставшегося на белом свете еврея музеи будут давать тысячи золотых... Я не испытываю удовольствия при мысли, что сим последним экземпляром будет мой внук... Надеюсь, вы меня понимаете?

– Нет! Нас лишили воздуха, но это предохранило нас от гниения, нам сыплют на сердца соль вражды, но это сохраняет их в свежести, нас держат в студеном погребе, заткнув даже щели навозом, но мы не замерзли. Когда наступит весна, мы посмотрим, кто зазеленеет первым!

– Да вы, молодой человек, проповедник! Оратор! Тем хуже для вас... Приходите в лавку, когда вам заблагорассудится... я против студеных погребов... только ради Христа не смущайте своим взглядом Юлиану. Она женщина чувствительная, на душе у нее ночь, а вы – племя горячее... мало ли что может случиться.

Шахна зарекся смотреть на Юлиану: не ловить ее взглядов, не добиваться ее расположения, но зарок только растравил его желание. Он боялся, что осмотрительный Гавронский ушлет куда-нибудь свою дочь – либо в деревню, либо за границу (антиквар частенько навдывался в Варшаву, где имел дела с книготорговцами и, по слухам, – даже с контрабандистами).

Первый раз Шахна почувствовал, что может натворить глупостей (впрочем, он уже их натворил!), поступить ради иноверки своими убеждениями, даже, прости и помилуй, Господи, бежать с ней за границу, если она, конечно, согласится, жить при ней слугой, сторожем, носильщиком. Конечно, креститься он бы из-за нее не посмел, но тогда, в разгар его увлечения, был, как ему казалось, способен на крайность, тем более что ум и сердце его состояли в непримиримой вражде и с каждым днем их распря все больше и больше раз-

горалась. Подобно Бенъямину Иткесу, получеловеку-полуовну, Юлиана стала приходить к нему по ночам в синагогу ломовых извозчиков, подходила к лавке, на которой он спал, и до самого утра ерошила его густые, как вереск, рыжие волосы. Сквозь сон он звал ее по имени, и Мама-Ротшильд, страдавший бессонницей, тряс его за плечи и укоризненно выговаривал:

– Нашего Господа зовут Адонай, Элохим, но не Юлиана.

– Юлиана, – повторял Шахна, забыв все другие имена. – Юлиана! Юлиана!

Мама-Ротшильд слушал его и принимался весело и непотребно рассказывать, как он в молодости перепутал девку с ее братом и что из этой путаницы вышло.

– Чуть второй раз меня не обрезал...

Тяжело переживая свою ничтожность, свою неприметность и страстно желая возвыситься в глазах Гавронского и его дочери, Шахна однажды несказанно обрадовался, увидев в антикварной лавке отца спасенного им мальчика – Ратмира Павловича Князева.

– Сколько лет, сколько зим, – дружелюбно промолвил Ратмир Павлович и протянул руку.

В Шахне все ликовало. Пусть Гавронский, похоронивший еврейский народ и все его, Шахны, мечты и надежды, знает, с какими людьми он водит знакомство. Он, Шахна, еще когда-нибудь этому королевскому потомку королевских ловчих докажет, на что способны евреи. Как ни худо им в империи, но и они при счастливом стечении обстоятельств могут взлететь! И еще как высоко! В каждом городе должен быть один именитый еврей. Даже при дворе, чтобы какие-нибудь иностранцы пальцем не тыкали: мол, что за порядки, ни одного еврея в верхах.

– Вы не проводите меня? – спросил Князев.

В другой раз Шахна не согласился бы. Ну чего ему полковников провожать, сам дойдет его высокоблагородие, но опять захотелось щелкнуть Гавронского по его татаро-польско-еврейскому носу.

– Охотно, – ответил он.

Ратмир Павлович и Шахна пересекли Замковую улицу и вышли на Большую. Возле костела Святого Николая дотоле молчавший Князев сказал:

– Мне нужен толмач. С еврейского. Старый – Анисим Львович Верткин на Масленицу умер.

Ратмир Павлович говорил тихо, но твердо. Он искушал Шахну не высоким жалованьем (на жалованье грех жаловаться, сострил он), не почетным для иудея званием «толмач следственной части Виленского жандармского управления», не сословными преимуществами, которых Шахна может добиться ревностным и примерным исполнением своих обязанностей, но тем, что по истечении определенного срока службы получит вид на жительство в любом городе, включая столицу Петербург, а если повезет, то может рассчитывать на должность ученого еврея при губернаторе (он, Князев, состоит с его высокопревосходительством в родственных отношениях, их жены – троюродные сестры). Ему ничего не стоит замолвить словечко за своего подчиненного. Дорога к славе и почету открыта каждому независимо от племени. Евреи такие же сыны отечества, как и все остальные. Разве отечество повинно в том, что они (и не только они) частенько противопоставляют себя ему, поглядывают по сторонам, ищут счастья в иных пределах. Любить свою родину надлежит всегда, даже когда от нее получаешь пинки или стонешь. Только выродки поднимают руку на мать, которая из любви сечет своих детей розгами. Только выродки.

Князев не скрывал, что на первых порах Шахне будет трудно, даже очень трудно. Жандармерия – не раввинское училище, допросы – не чтение Торы. Но никто от Шахны и не требует, чтобы он стал жандармом. Каждому свое. В свободное время – а свободного времени у него будет предостаточно! – Шахна может заниматься своим любимым делом – совершенствоваться в языках, штудировать Священное Писание, праздновать все еврейские празд-

ники (в праздничные дни Ратмир Павлович отменит все дознания и допросы), посещать синагогу. Никто ему не будет чинить никаких препятствий. Только нежелательно, чтобы он распространялся о месте своей службы, разглашал ее тайны.

– Подумайте, – сказал на прощание Князев.

Предложение Ратмира Павловича огорошило Шахну, пришибло, возмутило своей откровенностью. Нет, он не помышлял о должности ученого еврея при губернаторе, не обольщался он и высоким жалованьем, хотя жизнь впроголодь с каждым днем все больше угнетала его, он не настолько честолобив, чтобы мечтать о каком-нибудь звании, кроме звания совестливого человека. Не прельщали его ни вид на жительство в Петербурге, ни прочие блага, о которых он мог только смутно догадываться.

Заманчивым казалось другое – возможность творить добро не где-нибудь в теплом местечке, на солнышке, в безопасном закутке, а там, где добро нагло и грубо попирают.

Нигде, размышлял Шахна, ни в одном местечке, ни в одном городе Северо-Западного края, так не нужен пастырь, посланник Бога, как в логове дьявола. Легко там, где небо не рушится, где не трещат челюсти и не льется кровь. Сиди и рассуживай, кто прав, кто виноват, где грех и где добродетель. Читай Тору и упивайся своими знаниями, блистай на диспутах, собирай дань уважения и любви ученых и благочестивых мужей. Но ведь кто-то должен опускаться в бездну, на самое дно, чтобы и в преисподней сверкнул луч надежды, повеяло совестью, как свежим ветром, кто-то должен выбирать не рай, не его прихожую, коей считают сей безумный, погрязший в грехах мир белобородые старцы рабби Элиагу и рабби Акива, а удушливый ад с его огнем и смолой. Ему, Шахне, на небе зачтутся его нечеловеческие усилия.

Чем больше честных людей, размышлял он, будет на службе у зла, тем скорей наступит время добра и справедливости.

Он, Шахна, не собирался быть посредником между добром и злом (такое посредничество всегда кончается крахом), не намеревался наживаться на зле, потворствовать ему и множить.

Могущество зла, думал он, зиждется на бессилии добра, на его малодушии и беззубости. Но возможно ли выгрести яму с нечистотами, не запятнав одежды, не замарав рук, не отравив зловонием душу?

Шахна на миг представил, какой переполох вызовет его решение (если он решится!) в раввинском училище, в синагоге ломовых извозчиков, в букинистической лавке Гавронского.

Все вокруг: «Продался за чечевичную похлебку».

Все проклянут его.

Все возненавидят.

Никому и в голову не придет, что двигали им высокие соображения, благородные расчеты, страстное желание все переделать и переиначить – ну пусть не все, пусть только частицу. Ты – частицу, я – частицу, он – частицу, что-то изменится.

Если кто его и поймет, то только рабби Элиагу. Не столько поймет, сколько пожалеет. Нет, нет, он не станет метать в него громы и молнии. Что ему, рабби Элиагу, жандармерия? Он живет уже не на земле, а на небе. Небо – единственное место на свете, где добру не выколачивают зубы, где злу не выламывают руки (отец Эфраим всегда говорил: и злу больно), где живут не русские, не евреи, не китайцы, не немцы, а праведники. И он, рабби Элиагу, скоро перестанет быть евреем, подданным Российской империи. Что ты говоришь, Шахна? А служение народу?... А справедливость? Народ, Шахна, – стадо, справедливость – добыча. По добыче каждый судит, справедлив мир или несправедлив, ибо что такое человек? Зверь – в стаде, в своре, в стае, и нет для него выше добродетели, чем собственные зубы.

«Подумайте», звучали в ушах слова Князева.

То ли желание оставаться наедине со своими мыслями, то ли чувство смутной вины перед рабби Элиагу (он так ему и не признался, что погубил его подарок-талес) снова толкнули Шахну в раввинское училище.

– Кто там? – спросил рабби Элиагу, когда Шахна вошел.

– Шахна Дудак.

– А! – выдохнул старец.

Он лежал на высокой кровати, грузный, неподвижный, почти мертвый, – тело его и впрямь уже прекратило свое существование, – только тяжелая, еще не опустевшая от осенних даров разума, зимняя голова белела в сумраке, как облако, и Шахна не спускал с нее глаз, словно в этом облаке умещались все ответы на все сегодняшние и завтрашние вопросы, все его прошлое и будущее. Да это было и неудивительно, потому что раньше, когда Шахна еще учился здесь, он ловил себя на мысли, что зимняя голова рабби Элиагу напоминает не только облако, но и зеркало: только загляни в него, и перед твоим взором возникнут и Дамасские ворота в Иерусалиме, и родное крыльцо в Мишкине, и следы на нем, оставленные дедом и прадедом, и каждый твой грех.

– Ты вернулся?

– Нет, – сказал Шахна. – Я пришел за советом.

– Зачем царю купеческое звание? Зачем умному совет? – почти весело сказал рабби Элиагу.

– Рабби! Должен ли человек, работающий на бойне, чувствовать вину перед скотиной, которой кормятся тысячи тысяч?

– А ты что, на бойню пошел?

– Нет, нет, рабби. Это я к примеру.

– Все повинны.

– И вы, рабби?

– И я, и ты, сын мой... и твои дети, которые родятся. Но ты хотел о чем-то со мной посоветоваться. Дерево моих советов совсем оголилось, но, если на нем остался хоть один листочек, так и быть: сорву его для тебя.

– Я спрашиваю, рабби. Можно ли стоять у котла с кипящей смолой, наблюдать за корчами грешников и не пытаться залить горящие угли?

– А зачем? – простодушно спросил рабби Элиагу.

– Разве Господь не велит нам помогать каждому, кто нуждается в нашей помощи в раю ли, в аду ли?

– Огонь, мой сын, тоже помощь. Зачем же его гасить?

И рабби Элиагу замолчал.

Шахна по-прежнему не сводил глаз с белого облака, парившего над кроватью, и ждал, когда в нем, как в волшебном зеркале, высветится ответ, который рассеет все сомнения, но ответа не было, как не было уже и самого учителя; в сумраке комнаты, где рабби Элиагу прожил больше шестидесяти лет, кроме громоздкой кровати с резьбой на спинке – целующимися голубем и горлицей, кроме дерева советов, на котором еще дрожал единственный листок, – ничего от жизни не осталось.

После посещения рабби Элиагу Шахна еще больше приуныл.

Ратмир Павлович как бы предвидел его сомнения и еще там, у костела Святого Николая, прощаясь, сказал:

– Да оставайтесь, батенька, кем хотите. От вас, кроме верности в переводе, ничего не требуется. Верность и только верность. И вам воздастся. Как говорится, всем слугам по заслугам.

Как Шахна ни тщился, он никак не мог представить себе свои будущие обязанности. Корпеть весь день в канцелярии и переводить показания арестованных евреев. А в те дни, когда арестантов не будет? Что он тогда будет делать?

Шахна еще раньше, еще до того как Князев предложил ему должность толмача, слышал о каких-то подпольных кружках, о какой-то Еврейской рабочей партии, ему о ней и брат Гирш рассказывал и причислял себя к ее сторонникам. Он и его, Шахну, агитировал вступить в ее ряды. Но Шахна наотрез отказался. Нахватались бог весть какой крамолы, устраивают сходки, размахивают красными знаменами, что-то выкрикивают про свободу и равенство. Глупцы! Разве криком можно чего-нибудь добиться, и потом – разве мятежи устраиваются ради равенства, ради свободы, а не ради желудка? Куда они, молокососы, ниспровергатели, прут? Мало того, что живут в чужом доме, так еще стены в нем рушат.

Обуреваемый сомнениями, Шахна мысленно обращался за советом и к Юлиане. Как ни странно, но в его расчетах она занимала довольно видное место. Шахна понимал несбыточность и вздорность своих притязаний, но только они придавали смысл его невеселому и неопределенному существованию, заставляли возвращаться к князевскому предложению, когда оно, казалось, уже было им окончательно и бесповоротно отвергнуто.

Шахна искал свидания с Юлианой, свидания наедине, без свидетелей, многое с ним связывал. Он очень удивился, когда ему удалось с поразительной легкостью добиться с ней встречи.

– Приду, – сказала она. – Ждите... Только, пожалуйста, побрейтесь... Эти... как их... пейсы... вам совершенно не идут...

Он стоял под колоннами Кафедрального собора, подтянутый, в немецкой шапке, в начищенных до блеска ботинках, со сбритыми пейсами. Непривычно гладкое лицо обвеивал ветер, Шахна нервно оглаживал щеки, озирался, поглядывал на каменного Моисея, подпиравшего свод собора, и завидовал себе – не изваянному, живому, грешному, к которому впервые придет на свидание женщина. И не просто женщина, а писаная красавица.

Пока Шахна ее ждал, он думал над тем, почему Юлиана с такой поспешностью согласилась на дерзкое, пусть и мимолетное, свидание. Наскучила родительская неволя? Любопытство? Или по весне взбунтовалась татаро-польско-еврейская кровь? Весной все – от зеленого листочка до шелудивой дворовой кошки – вдруг немисливо преображается, наливается хмелем, побуждает к радостному и безотчетному безумству. Этот хмель бродит и в его, Шахны, жилах, это безумство и ему кружит голову.

Юлиана подошла не сразу. Негоже такой даме выказывать свою нетерпеливость. Юлиана – не прачка Магда, млеющая от его близости и уверяющая, что он мужик что надо, но только нестираный...

– Давно ждете? – осведомилась Юлиана и протянула ему руку. Господи! Такая легкая, мелькнуло у него, но она может перевесить Тору...

Вокруг шумело, сопело, талдычило, спешило разноязыкое Вильно.

– Вы всегда такой молчун? – Шахне показалось, что и от ее голоса пахнет заморскими духами.

– Всегда.

– А я думала...

Юлиана не договорила. Она испытывала какую-то неловкость, все время оглядывалась, пряталась за колонны, за изваянного Моисея, обнимая каменные ноги пророка и тем самым вызывая ревность Шахны.

Эта недоговоренность, эта отрывистость речи, это разглядывание его выбритых щек и подстриженных висков, его немецкой шапки и начищенных до блеска ботинок смущали Шахну. Надо было чем-то ее занять, что-то говорить, но мысли, как назло, путались, слова отказывались выстраиваться в предложения. О чем рассказывать? О себе, о своей родне, об

отце Эфраиме, о своих братьях, о Беньямине Иткесе, получеловеке-полуовне, о жандармском полковнике Князеве?

Шахна рысью, как норовистый жеребчик, промчался по своей жизни, но не выудил из нее ничего достойного, ничего такого, чтобы возвыситься в ее глазах.

Он знает наизусть многие перлы Иегуды Галеви, может продекламировать Пушкина и Лермонтова (спасибо Гавриилу Николаевичу Бросалину – научил!), но что за прок в стихах, если Юлиана не знает ни слова по-древнееврейски, а Пушкиным и Лермонтовым ее не удивишь.

– Когда вы рядом, я умею только дышать, – честно признался он.

Она вскинула брови, из-под них сверкнули две голубые молнии и тут же погасли. Этот книгочей, этот увалень не так-то прост, как кажется. И взгляд у него не простолюдина, и речь, и повадки. И наружность как у горца.

– Что ж... Дышать так дышать!

Но и дышать становилось все трудней. Казалось, Шахну посадили на раскаленную печь, накинули на плечи меховую шубу и вдобавок тряпкой заткнули рот. Шут гороховый! Огородное чучело! Рохля! Рассказывай! Рассказывай, пока не ушла!

– Я знаю одного бродягу... Его зовут Мама-Ротшильд!..

– Боже мой, как интересно! Как интересно, – затараторила Юлиана.

– Он уверяет, будто матерью его была сестра Ротшильда.

– Боже мой, как смешно! Как безумно интересно! Мама-Ротшильд!

В Ботаническом саду играл духовой оркестр. Капельмейстер взмахивал булавой, на лужайке кружились пары.

Шахна паялся на булаву, на кружащиеся пары, и сердце его то взлетало вверх, как эта булава, то падало вниз, через желудок к ногам. Вверх-вниз, вверх-вниз.

– Вы ради меня согрели, – сказала Юлиана.

– Согрешил?

– Сбрили свои пейсы...

– Что поделаешь. Безгрешных радостей не бывает, – ответил он и улыбнулся.

От волнения у него першило в горле. Он снял немецкую шапку, скомкал ее, запустил руки в космы, взлохматил их и страдальчески глянул на Юлиану.

– Какие клены! – воскликнула она, когда они вошли в кленовую аллею.

– А у нас в Мишкине... у меня на родине... клены совсем другие. На наших и листва покрупней, и резьба, пожалуй, позамысловатей.

И он вдруг принялся расписывать клены своей родины. Он рассказывал о них с таким пылом, с такой страстью, с таким желанием вызвать сочувственный отклик, будто объяснялся в любви не литовскому дереву, а ей, татаро-польско-еврейской женщине, вдове военного доктора, погибшего по пути из мятежного аула в свой полк. Но Юлиана, видно, была равнодушна к *его* деревьям, ей было все равно, какой они величины и что на них за резьба, замысловатая или незамысловатая.

Юлиана вдруг резко повернулась и, не глядя на Шахну, побежала мимо кружащихся пар, мимо капельмейстера с его неугомонной булавой, мимо каменных апостолов, лениво подпиравших свод собора.

Шахна был в полном замешательстве.

Когда он на другой день пришел в антикварную лавку на Замковой улице, Юлианы там уже не было.

Гавронский был с ним необыкновенно любезен, показывал приобретенные в Варшаве книги, рассказывал о крушении поезда Петербург – Берлин, о жертвах наводнения в Австрии и не сводил с Шахны восторженных глаз.

Шахна не знал, чему приписать такую перемену.

Пользуясь благоволением антиквара, он спросил:

– А ваша дочь... что... больна?

– Юлианочка в деревне. Ей слегка неможется. Мигрень. Это у нее, видно, после пари...

– Пари?

– Мы пошли с ней на пари, – охотно объяснил Гавронский. – Она сказала, что вы своих пейсов никогда не сбреете, а я – что вы, если она согласится прийти к вам на свидание, сбреете... Юлианочка проиграла мне пять бутылок шампанского...

Шахна почувствовал, как сперва поплыл перед его глазами Гавронский, потом книжные полки, потом потолок со старинной люстрой – только он один стоял на полу, как на качающейся палубе, пытаясь за что-нибудь ухватиться.

«Пять бутылок шампанского... пять бутылок шампанского... пять бутылок шампанского», грохотало в мозгу, как колеса поезда Петербург – Берлин, «пять бутылок шампанского... пять бутылок шампанского», наводнение из Австрии перекинулось в Северо-Западный край, достигло Замковой улицы, в шампанском плыли дома, молельни, его, Шахны, надежды.

Гавронский вскоре почил в бозе, Юлиана продала лавку, вышла замуж за железнодорожного инженера и уехала не то в Шанхай, не то в Харбин, а у Шахны в ушах еще долго стоял цокот ее каблучков по кленовой аллее Ботанического сада, и это было барабанной дробью перед казнью (иначе его приход к Магде не назовешь), и сама казнь всплывала в памяти клочковато и неотвратимо.

Так и осталось для него загадкой, как он в тот, после наводнения, вечер из лавки Гавронского отправился не к себе домой на Конскую, а на соседнюю Рудницкую к Магде.

Он лежал в кровати в тесной каморке, среди вороха чужого белья, среди стен, пропитанных паром и синькой, лежал на чисто застеленной постели, на туго набитых подушках в наволочках с вензелем «М».

Рядом, обхватив его своими мощными руками, лежала сама хозяйка – прачка Магда.

Она целовала его и бесстыдно шептала:

– Я приму все грехи на себя. Все... А ты не бойся...

Она сама раздела его, затолкала мускулистыми ногами его исподнее в изножье кровати, а он даже не пошевелился, как будто был мертв. Он и в самом деле был мертв – даже то, что в нем жило, принадлежало не ему, а ей.

– Я тебя научу, дурачок... Столько лет прожил, и не знаешь... куда дудочку вставить.

Иногда ее разбирал смех, и она задушенно, виновато смеялась:

– Господи! Какой же ты неумека!.. Да кто же так дудит?.. Вот так!.. Вот... Ах, дурачок ты мой! Ах ты, мой девственник.

И снова подбадривала его в темноте.

И так длилось до самого утра, до самого, как Шахне казалось, конца его жизни.

Займется рассвет, думал он, испытывая отвращение к собственной наготы, и меня отсюда унесут на двух неотесанных досках на кладбище, потому что жить *после этого* невозможно, невыносимо, преступно. Он больше никогда... никогда не прикоснется ни к одной женщине, будь она даже непорочна, как ангел... он оскотит себя...

– Ну что ты нос повесил? – Теперь уж Магда не целовала его, а облизывала, как раненую собаку. – Приходи, когда тебе захочется... Приходи... Ты такой ласковый... такой чистый...

Она уснула, уронив голову ему на грудь, счастливая и выпотрошенная, а у него не было сил подняться и уйти. Он не знал, что ему с ней, с этой чужой, уткнувшейся в его грудь головой, делать.

В комнате пахло сохнувшим бельем.

И Шахна весь – с головы до ног – пропах им. Он был уверен, что отныне этот запах будет преследовать его всю жизнь.

И пар от чужого белья, от чужого непривередливого тела будет клубиться над ним до самой смерти.

Самое страшное было то, что выбрал он все это добровольно, без всякого принуждения. Зачем? Из мести Юлиане? Из желания стать, как говорил Бенъямин Иткес, как все... грязненьким, черненьким, по которому ползут черви и которого лижут бездомные собаки?

«Ах, дурачок ты мой! Ах ты, мой девственник!»

Это был не зов женщины, а зов самой жизни, приглашавшей его на свои запретные, свои притягательные, свои чумные пиры, на которых не думают о похмелье.

Теперь Шахну томила другая мысль – мысль о том, что у Магды родится ребенок.

Его ребенок.

Он торопил время, ждал, когда к нему на Конскую явится беременная Магда, встанет посреди комнаты, и ее огромный, начиненный его грехом живот заслонит от него все, что ему было дорого: и родной дом в Мишкине, и отца, и тень матери, отгородит его, Шахну, от жизни – от восхитительной коварной Юлианы, от зимней головы почтенного рабби Элиагу, от жандармского полковника Ратмира Павловича.

Но дни шли, и Магда даже за бельем не приходила, еще больше подогревая его страхи и нетерпение.

Господи, для того ли он приехал из захолустья в Ерушалаим да Лита – Вильно, чтобы прижить с первой попавшейся бабой ребенка? Но при чем тут первая попавшаяся баба? Он сам во всем виноват. Сам. И ему все расхлебывать, за все платить. Конечно, поступи он толмачом к Ратмиру Павловичу, в жандармском управлении всегда найдет защиту. Он-то, может, найдет. А его совесть? Его душа? Хороша совесть, которую защищают жандармы!

И потом – даже если он согласится и примет предложение Князева, то сделает это не из трусости, не из корысти, а с самыми благими намерениями. Рабби Элиагу ошибается: огонь – не помощь. Никто не должен корчиться от боли ни на костре добра, ни на жаровне зла. Что за прок в добре, которое испепеляет? Может, Господу угодно, чтобы он стоял возле котлов с кипящей смолой и плескал на огонь из ведерка воду. Пусть только из ведерка. Пусть. Может, Всевышний и Магду послал ему, чтобы он, Шахна, прежде чем спуститься в преисподнюю, не умом, а сердцем, кожей, каждой своей порой понял, что не тот праведник, кто не совершает грехов, а тот, кто даже грех обращает на пользу добродетели.

Шахна вошел в просторную гостиную, на столе сверкал самовар, в углу золотился оклад с изображением Спасителя, клавишин был открыт и, похоже, остывал от звуков. (Видно, Петя только что кончил играть.)

– Очень рад, очень рад, – сказал Ратмир Павлович. Он был без мундира, в красивой поддевке. Русые мягкие волосы прикрывали желтую отмель лысины. – Если вы позволите, я буду величать вас на русский лад – Семеном Ефремовичем. Вашего батюшку, кажется, зовут Эфраим, по-нашему, значит, Ефрем.

Шахна кивнул.

– Семен Ефремович! Звучит неплохо! Ничем не хуже, чем Ратмир Павлович. Глупое имя – Ратмир. И где только отец его выкопал?

Князев перехватил взгляд Шахны, цеплявшийся то за тлеющую под образами лампаду (Антонина Сергеевна была очень набожна), то за открытый клавишин, то за самовар.

– Скромно живем, тихо, хотя о жандармах люди бог весть что плетут.

Начало обескуражило Шахну. Семен Ефремович! Пусть называет как угодно, как ему заблагорассудится. Разве дело в имени? Реку назови садом, яблок по осени все равно не соберешь.

– Если вы позволите, мы совершим еще одну маленькую операцию, – промолвил Князев.

Неужели придется чокнуться?

– Для удобства мы вам окончаньице добавим.

– Какое окончаньице? – спросил ошарашенный Шахна.

– Ду-да-ков! Было два слога, стало три. Слог, батенька, в России много значит.

Шахна съехал с Конской и снял комнату на Большой. Он купил мебель, повесил новые гардины, приобрел в магазине «Розенблум и сын» костюм из английской шерсти, пальто на ватине, с бархатным воротником, как у учителя словесности Гавриила Николаевича Бросалина, черную фетровую шляпу с широкими полями, делавшую его похожим не то на испанского алькальда, не то на знатного купца с картины Рембрандта.

Раз в месяц он получал в жандармерии жалованье – два червонца, тратил их на книги, посылал в Мишкине отцу Эфраиму, в Киев сестре Церте, которую бросил муж, дважды в год жертвовал на синагогу ломовых извозчиков, давшую ему приют, на побелку раввинского училища и на сооружение каменного нужника вместо старого, деревянного, возле которого он когда-то подстерегал своего самого лютого недруга, напивавшего вонью его молитвенное покрывало, подаренное ему рабби Элиагу. Купил он и новый талес и заплатил за него большие деньги, поскольку он, по заверениям хозяина лавки ритуальных и погребальных товаров, был привезен чуть ли не с Земли обетованной.

Семена Ефремовича Дудакова вдруг обуяла страсть к покровительству, к вспомоществованию бедным и униженным, к тем, с кем он еще совсем недавно делил хлеб и кров.

Он разыскал в синагоге ломовых извозчиков нищebroда Маму-Ротшильда и дал ему на Суккот золотой рубль.

– А ты его не того... не слямзил? – пряча рубль в карман, процедил Мама-Ротшильд.

– Нет.

– А откуда ты его взял?

– Заработал. Бог свидетель.

Золотой Шахны вызывал в бродяге какие-то недобрые подозрения, но искушение неожиданным богатством было сильней.

– Если ты принесешь мне еще один золотой, – сказал Мама-Ротшильд, – я положу его в банк и за год нарастут проценты.

– Я буду приходить каждый месяц, – пообещал Шахна.

Первое жалованье совпало и с первым допросом.

Допрашиваемый, чем-то смахивавший на Беньямина Иткеса, был задержан с чемоданом подметной литературы при переходе через русско-германскую границу. Звали его не то Кример, не то Кремер. При задержании этот Кример или Кремер оказал сопротивление, легко ранив жандарма, но был обезоружен и с пограничной станции Вержболово препровожден под конвоем в Вильно. Не желая, видно, отвечать на вопросы Князева, он заявил, что не понимает по-русски, хотя, судя по книжкам, обнаруженным в его чемодане, владел русским языком не хуже, чем Семен Ефремович. Ложь арестанта нимало не смутила Князева. Он этому Кримеру или Кремеру объяснил, что тот может изъясняться на своем родном языке и что господин Семен Ефремович Дудаков (Ратмир Павлович церемонно поклонился Шахне) все переведет.

Не преминул полковник сообщить подследственному и то, что Семен Ефремович не только переводчик, но и в недалеком прошлом семинарист Виленского раввинского училища.

– Еврей с евреем всегда договорится, – сказал следователь.

Последнее замечание покорило Шахну. Он совсем не собирался находить с этим Кремером или Кримером общий язык. Его дело – перевод и только перевод. Но вслух пере-

чить Князеву не отважился. Он должен был повиноваться ему во всем, что касается установления истины, хотя и отделял – да что там отделял, – резко разграничивал истину *жандармскую* от истины божьей.

Тогда, на первом в своей жизни допросе, Шахна до того растерялся, что не мог перевести простейшие предложения, путался, кашлял, испытывал почему-то удушливое чувство стыда.

Этот Кример или Кремер смотрел с высокомерной брезгливостью не столько на Князева, своего следователя, сколько на него, толмача.

– За сколько душу продал? – спросил юнец по-еврейски.

– Что он, Семен Ефремович, сказал?

Шахна мог ответить, что этот Кремер или Кример спорил глупость, выругался по-еврейски, обозвал его свиньей и тому подобное. Но ему не хотелось начинать свою службу с обмана и недомолвок. Хотелось быть честным со злом справа и со злом слева. А вдруг Князев устроил ему ловушку? Вдруг он без всякого толмача понимает по-еврейски?

– Он спрашивает, за сколько я продал душу?

Князев улыбнулся, беззлобно покосился на арестанта.

– И что же вы ему, Семен Ефремович, ответили?

– Ничего.

– Робеете?

– Я не отвечаю на то, что не относится к делу.

– Ответьте ему! Объясните арестанту, что отечеству не продаются, а *служат*.

Шахна не стал переводить Кримеру или Кремеру слова полковника о служении отечеству – юнца все равно не переубедишь. Он просто посоветовал своему сородичу, этому желторотому цыпленку-революционеру, не ожесточать следователя, не затягивать дознание, отвечать на вопросы без утайки, чтобы не ухудшать своего положения.

Ратмир Павлович кивал головой, с любопытством поглядывал то на одного, то на другого, по-дружески, почти шутливо грозил Дудакову пальцем – мол, смотрите у меня, Семен Ефремович! Казалось, поведение толмача интересовало его больше, чем показания арестованного.

Шахна прилежно, по-ученически переводил. Речь его текла медленно и заунывно.

Ого! Сын купца первой гильдии! Из Паневежа, повторял за толмачом Князев. Единственный наследник! Нет, чтобы отцовский капитал умножать и славу торгового дома Кримера или Кремера поддерживать, в смутьяны пошел, в контрабандисты.

– Ты действительно ни слова не знаешь по-русски? – спросил Ратмир Павлович. – Кому ты должен был передать чемодан?

Чемодан, чемодан, чемодан, – стучало в висках Шахны. Господи, да какое значение имеют этот облезлый чемодан, эти напечатанные на гектографе пожелтевшие листки и тонюсенькие брошюры? Почему Ратмир Павлович ни разу не осведомился о раненом сослуживце?

Будь его, Шахны, воля, он бы этим Кримерам или Кремерам разрешал перевозить все что угодно – пусть читают, пусть заучивают наизусть, пусть передают из рук в руки. Зачем обыскивать мысль, изымать, обуздывать, страшить карами? Она все равно, как мышь, прогрызет кандалы и стены, все равно вырвется из подполья – головы и, даже если эту голову отсечь или умертвить, переключает в другую, в другое живое подполье. Отпустил бы Ратмир Павлович этого юнца с миром, хорошенько проучив и сообщив в Паневежродителю. Что с того, что этот Кример или Кремер против существующих порядков. Бог создал не сторонника, не противника, а *человека*, и, если ему не удалось его переделать, на что может рассчитывать жандармерия?

Мысли путались в голове-подполье у Шахны, наползали друг на дружку, перескакивали с арестанта на Ратмира Павловича, покрывали немыслимые расстояния от земли до неба, от Берлина до пограничной станции Вержболово, от Большой улицы, где он теперь жил, до снегов Сибири.

Он переводил этому Кремеру или Кримеру один и тот же вопрос Князева («Кому ты должен был передать чемодан?»), успевая вставить и свое слово. Он умолял арестованного не обострять своих отношений с его высокоблагородием, раскаться, предлагал назвать любые, пусть и вымышленные, пусть и несуществующие, адреса и фамилии, но юнец только морщил лоб и поглядывал на носки своих ботинок.

Первый допрос ничего не дал.

На другой день, как только Шахна переступил порог, Ратмир Павлович воскликнул:

– Прочитал! От корки до корки!

И поставил перед ошарашенным толмачом фибровый чемодан с запретными книжками.

– И вы, Семен Ефремович, прочтите! Правду, негодяи, пишут. Чистейшую правду. И про заводчиков, и про царя, и про притеснения и неравенство.

Князев перешел на шепот:

– Ни убавишь, ни прибавишь!

– Да, но ваше высокоблагородье...

– Что «ваше высокоблагородье»? Правду пишут, говорю. Не врут. Разве вы, Семен Ефремович, думаете не так?

– Как?

– Ведь думаете, что царь – кровопивец, а заводчики – шкуродеры. Что ж вы молчите? Не бойтесь! Честно признаться, и я так думаю.

– Как?

– Так, как в этих книжках написано.

Шахна стоял перед ним бледный, настороженный, не сводил глаз с фибрового чемодана, с книжонок, сложенных как попало, с жилистых, поросших белесым пушком рук Ратмира Павловича и втайне радовался своей стойкости. Он, Шахна, знает, о чем можно и о чем нельзя думать в присутственном месте, да еще в таком, как следственная часть жандармерии.

Нет, Князев ничего не услышит от него. Ничего. Ни про царя, ни про заводчиков, ни про притеснения, ни про равенство. Конечно, царь – кровопивец, конечно, фабриканты – шкуродеры. Но слова – могильщики. Слова хоронят человека задолго до того, как его зарывают родственники. Надо научиться жить без слов. Или только с теми, от которых не веет могилой.

– По-вашему, Семен Ефремович, уж коль скоро ты жандарм, то обязательно дубина... Нет, батенька... Можно молиться Богу и не верить. Можно преследовать правду, но в душе с ней соглашаться. Понимаете?

– Если то, что написано в этих книгах, правда, что за надобность ловить этого Кримера или Кремера?

– Чем лучше правду знаешь, тем легче с ней расправляться.

Ратмир Павлович исподлобья глянул на Шахну.

– Может вполне статься, что когда-нибудь... через сто лет... этот Кример или Кремер тоже станет жандармом. Пока будет существовать правда, не переведутся и жандармы. Правда их не отменяет, а, я бы даже сказал, плодит.

Князев подвинул к Семену Ефремовичу фибровый чемодан:

– Берите! На память о первом допросе!..

Шахна зарделся, вежливо отказался, но Ратмир Павлович был непреклонен:

– Книжки – в печь и... еще в одно место. А чемодан? Чемодан, Семен Ефремович, все-таки вещь полезная... заграничная... Не пропадать же добру.

Господи, думал Шахна, вернувшись домой и наглухо зашторив окна, куда я угодил? Я, примерявший в мыслях тогу праведника, готовивший себя с малолетства к самопожертвованию во имя добра и справедливости? Вот она, моя справедливость, – этот пустой фибровый чемодан с двойным дном, торчащий в углу как памятник моим несбывшимся надеждам, моим исковерканным мечтам.

Тайная распря с самим собой терзала его и временами доводила просто до изнеможения. В такие минуты он готов был мчаться на Александровскую площадь к Князеву и коленопреклоненно просить, чтобы тот подыскал себе другого толмача. Не могу, Ратмир Павлович... Вот ваш фибровый чемоданчик... вот ваши два червонца... вот вам ваше окончанье...

Отчаяние его усугублялось еще и тем, что он не понимал, почему Ратмир Павлович так держится за него, почему среди многих виленских евреев, отменно знающих русский язык, выбор полковника пал именно на него, Шахну, безвестного школяра, богобоязненного провинциала.

Что это?

Расчет, дальновидный расчет жандарма, облагодетельствовавшего из чувства признательности полунищего семинариста, поднявшего его со дна жизни на поверхность? Отсюда один шаг и до следующей ступеньки – крещения (его предшественник Анисим Григорьевич Верткин принял православие), а там – и должность следователя, не того, с кого *спрашивают*, а того, кто сам *спрашивает*.

Расчет ли? Случайность ли? Зачем искать причину? Во всем, что происходит, виноваты не Беньямин Иткес, не Юлиана Гавронская, не прачка Магда, а он сам. Он сам расставил силки и сам в них попался. Теперь ему отсюда, из логова зла, живым не уйти. Впрочем, почему, Семен Ефремович, логово зла? Называйте место своей службы логовом добра! Если вещь не названа по имени, ее, батенька, не существует, а вещь несуществующая, но названная по имени, приобретает права гражданства, вид на жительство... ха-ха... Логово добра! Логово любви к престолу и отечеству!.. Впрочем, почему, Семен Ефремович, логово? Твердыня! Цитадель! Обитель!

Все это вдруг вышелушилось из газетной заметки, высветилось из маленького облачка порохового дыма, растаявшего у входа в цирк Мадзини, и бессвязно пронеслось перед Семеном Ефремовичем Дудаковым, который внезапно почувствовал такую щемящую жалость к своему среднему брату Гиршу, государственному преступнику, незадачливому сапожнику, к своему отцу каменотесу Эфраиму, к самому себе, обманутому в своих возвышенных ожиданиях; его захлестнуло такое искреннее, дотоле никогда не тяготившее его сострадание ко всему на свете, что он несколько раз сглотнул комок и на всякий случай прикрыл глаза, чтобы удержать под веками слезы.

Довод Князева о том, что другой возможности увидеться с *живым* братом, по всей видимости, не будет, привел Семена Ефремовича в состояние, близкое к обмороку. Он понимал, что ничем не сможет помочь Гиршу и – что еще важнее – отцу Эфраиму, но вместе с сознанием собственного бессилия проклевывалось другое чувство, которое Шахна за собой раньше не замечал и в котором было что-то и от горького, необъяснимого злорадства и от несправедливой и обременительной гордости за Гирша одновременно.

– Когда его приведут? – после долгого молчания спросил Семен Ефремович.

– Придется нам самим туда поехать, – сказал Ратмир Павлович.

– Куда?

– В 14-й номер. Крюков! – крикнул полковник.

В кабинет влетел писарь, служивший с Князовым еще в Томске и преданный своему начальнику, как собака.

– Карету! – приказал полковник.

– Лошадей чистят, ваше высокоблагородье... Раньше, чем к вечеру, не успеют...

Семен Ефремович молчал. Ему вдруг захотелось, чтобы лошадей чистили весь день, всю ночь, весь год, всю жизнь, чтобы жандармская карета никогда не приезжала за ним и Ратмиром Павловичем. Приедет, и затрещат его, Семена Ефремовича, косточки, потому что не булыжником, а ими, его костями, будет выложена вся дорога от жандармского управления до 14-го номера.

Семен Ефремович, нет, не Семен Ефремович, а Шахна вдруг вспомнил, как мать, бывало, колотила его за то, что, поймав муху или божью коровку, он отрывал у нее крылышки, а затем наблюдал, как насекомое беспомощно ползает по столу или оконному стеклу.

– А что, если у тебя, разбойник, оторвут крылья? – совестила его мать.

– А у человека нет крыльев.

– Есть, – сердилась мать.

– Нет! Нет! Ни у тебя, ни у отца, ни у Шмуде-Сендера, ни у меламеда Лейзера, ни у рабби Авиэзера – ни у кого! – ликовал он от своей правоты.

– Дурачок! У каждого человека есть крылья, но он их не чувствует до тех пор, пока у него их не отрывают...

Оторвали у него крылышко, оторвали, и пополз Семен Ефремович Дудаков по дубовому столу жандармского полковника Князева, по ножке стола, по давно не мытому полу кабинета, хотел было уползти за дверь, но Ратмир Павлович захлопнул ее так, что ни щелочки, ни зазубринки не осталось – только рант начищенного до блеска хромового чиновного сапога – единственная дорога всех мух и божьих коровок, которые остались без крыльев.

III

Телега Шмуле-Сендера катит в Мишкине, на почту, где старика Эфраима ждет письмо от дочери Церты. Долго сюда письма идут, ох, как долго – целую вечность. Вышлют летом, а письмо придет осенью, отправят осенью, а получишь его зимой. И радуйся! Воскобойников, прежний почтарь, сколько писем, паршивец, погубил: пойдет, бывало, в нужник и подотрется чьей-нибудь Америкой или Палестиной, и насыпь ему соли на хвост.

Эфраим может со Шмуле-Сендером ехать и ехать – аж до Петербурга, аж до Америки, аж до Земли обетованной. Шмуле-Сендер как повязка на рану: только посмотрит на тебя, только потеревит короткими смешными щипками свою бороду, и печали как не бывало, сиди и слушай, как колеса скрипят, как лошадь фыркает, как в придорожных кустах птахи цвенькают.

Господи, какое счастье – дорога! Стоит еврею сделать остановку, и на него сразу же все беды обрушиваются. Но пока еврей едет, нет на свете человека счастливее, чем он. Даже если он едет на похороны.

Эфраим и Шмуле-Сендер знают друг друга шестьдесят, а может, и больше лет. Начнешь считать – со счета собьешься. Вместе в рекруты уходили, вместе на русско-турецкой воевали, вместе в окопах Бога молили, чтобы уберег и вернул их живыми-здоровыми на родину, в Литву, в их тихое и мирное местечко.

Еще в детстве оба поклялись не расставаться до самого смертного часа.

– Я умру раньше тебя, – уверял водовоза Эфраим.

– Нет, раньше умру я, – великодушно возражал Шмуле-Сендер. – В роду Дудаков все долгожители. Кто родился на кладбище, тот живет столько, сколько праотец Авраам.

– Я родился в избе.

– Ты – в избе. А твой дед?

– И дед в избе.

– Не в избе, а на кладбище, – толковывал Эфраиму Шмуле-Сендер.

– На кладбище? – брови Эфраима взмывали вверх, как две ласточки.

– В Мишкине тогда чума свирепствовала. Косила всех без разбору. Всполошились евреи, наняли старовера Кирьянова, поставили у ворот кладбища, положили золотой – целый золотой! – в день и велели: «Как только пронесут покойника, кричи, Иван, благим матом: «Нет тут больше места! Нет тут больше места!»

– Ну и что?

– Первый день еще прошел так-сяк. А второй!.. Толи Кирьянову заплатить забыли, толи по другой причине – Иван стоит у ворот и во всю глотку кричит: «Всем места хватит! Всем места хватит!» Чума и распоясалась. К вечеру – двенадцать трупов. Прибежали евреи к раввину: «Рабби, что делать?» А рабби им в ответ: «Беременную найдите». Нашли беременную – прабабку твою, Черну, царство ей небесное, привели к раввину. «Впрягите ее в соху и проведите между кладбищем и местечком между глубиной в пять вершков и шириной в двадцать!» Прадед твой Генех чуть ему глаза не выцарапал: «Сами, рабби, впрягитесь! Черна вам не вол и не лошадь!» Упали люди на колени перед твоим прадедом и давай его умолять. И что ты, Эфраим, думаешь? Как только Черна вспахала межу, дед твой Шимен, да будет благословенно его имя, и запищал. И чума, услышав писк младенца, сдалась и отступила из местечка. С тех пор и чума, и моровая язва, и проказа обходят его стороной.

Старик Эфраим может слушать Шмуле-Сендера целыми часами, хотя и не верит ни в чудотворную межу, ни в старовера Кирьянова, согласившегося за золотой отпугивать чуму, ни в другие байки.

Пусть Шмуле-Сендер привирает. Вранье – вино бедных, медовый напиток горемык.

Но сегодня Шмуле-Сендер молчит. Даже лошадь не понукает. Сидит, нахохлившись, смотрит на большак, на придорожные деревья, и мысли его переплетаются, как ветви, и сквозь гущу ветвей проступает не мишкинская почта, а далекая-предалекая Америка, город Нью-Йорк, где сын Шмуле-Сендера белый Берл торгует белыми часами.

Водовоз завидует Эфраиму. Эфраим за письмом едет. *За письмом*. А от белого Берла ни слуху ни духу. Ни белых, ни – упаси бог! – черных писем. Письма! Письма! Для того ли Шмуле-Сендер и Эфраим растили детей, чтобы в жару и стужу тащиться на почту за жалкими крохами радости. Хорошо еще, если радости. А вдруг горе? Господь, как известно, радость отвечает крохами, а горе караваями. И потом, разве из крох радости соберешь живого Берла или Церту?

Шмуле-Сендер, думает старик Эфраим, глядя на взмокшую спину возницы, еще грех жаловаться. Белый Берл ни в кого не стрелял, не наградил Господь водовоза и дочь, не сподобил его чести иметь внука-байстрюка и зятя-фармазона.

Эфраиму страх как хочется, чтобы Шмуле-Сендер заговорил с ним о Гирше, о зерноеде Шмерле-Ицике, о раненом Виленском генерал-губернаторе, о своем удачливом белом Берле (три года прожил в Нью-Йорке и каменный дом купил. Каменный!) – пусть говорит о чем угодно, только не студит его душу молчанием.

– Послушай, Шмуле-Сендер, – начинает Эфраим, – ты мог бы быть палачом?

– Лучше быть Ротшильдом.

– Мог бы, скажем, вздернуть человека? – не унимается каменотес.

– Как это вздернуть?

– Намылить веревку, накинуть ее на шею...

– Тебе?

– Мне... Авнеру... или...

Шмуле-Сендер понимает, куда клонит Эфраим. На уме у него не Авнер, а сын Гирш. За покушение на генерал-губернатора его, Гирша, по головке, конечно, не погладят. Если признают виновным – а еврей еще до рождения, до выстрела в губернатора, до суда виноват, – то дела его плохи: в тюрьме сгноят или, как говорит Эфраим, вздернут на виселице.

Лошадь трусит по большаку. Шмуле-Сендер помахивает кнутом скорее для вида, чем для острастки. Старик Эфраим придерживает шапку – не дай бог, ветер сорвет, потом гоняйся за ней, как мальчишка за бумажным змеем.

– По-моему, – говорит Эфраим, – в каждом из нас два человека живут.

– У меня и для одного места мало, – отшучивается Шмуле-Сендер.

Ровный большак навевает неодолимую сладкую дремоту. Кажется, мать качает люльку, и тебя, маленького, беззащитного, кидает, как щепку, из стороны в сторону.

– Два человека в каждом из нас... два... Один намыливает веревку, другой стоит на табурете и молится.

Шмуле-Сендер не перечит Эфраиму. Два так два. Пусть победит не тот, кто намыливает веревку, а тот, кто стоит на табурете. Но разве, стоя на табурете, победишь?

Вот и мишкинская почта.

После Воскобойникова (он отравился кабаниной) почтарем там служит Ардальон Игнатьевич Нестерович – бывший их урядник. Прежний почтарь не только подтирался чужими письмами, но и скручивал из них самокрутки. Бумага тонкая, заграничная, с приятным ароматом. Сколько он, нечестивец, писем скурил – одному богу известно. До сих пор над крышей мишкинской почты не облака плывут, а дымки от писем – горькие, сладкие, недостижимые дымки!

Ардальон Игнатьевич в отличие от Воскобойникова не курит и к письмам оттуда относится иначе – с почтением и тайным любопытством. Ни одному не даст пропасть. Как можно:

люди из-за моря-океана пишут, и не кому-нибудь, а своим родичам, родителям, на веки вечные оставшимся в России.

Правда, и за Нестеровичем водится грешок – любит подношения. Но разве при почтарском жалованье подношения – смертный грех? Придешь за письмом, Ардальон Игнатьевич непременно справится: ну как они там, наши беглецы, деньги, небось, лопатами загребают? Бросили отчизну ради златого тельца... Его, Ардальона Игнатьевича, на кусочки изрубил, сунь в чемодан, перевези за границу, он там соберет себя и пешком домой, в Россию, потопает. Привет им, беглецам, передайте... от бывшего урядника... Твой Берл, наверно, уже забыл, как я ему уши надрал, когда в мой сад за яблоками лазил... А в чей нынче лазит?.. А твоя, Эфраим, Церта с моей Катюшей на речку белье полоскать ходила... пигалица... Говоришь, в Киеве она?.. Ну, Киев – не беда... Киев, Эфраим, наш, русский...

Ардальон Игнатьевич гневается, когда с ним вестями не делятся. От своих вестей тоска зеленая – там голод, тут недород, а там горцы снова бунт подняли. Он, Нестерович, делится с ними, бородачами, всем: и новостями, и хлебом. Иван, сын, в Туркестанском крае, на самой границе с Персией, а Катюша, та под боком, в Могилеве, за приказчика вышла, двойню родила.

Телега Шмуле-Сендера сворачивает с большака, и лошадь заученно цокает по булыжнику к почте, как будто не водовоз, а она получает письма из Америки.

Белый Берл давно грозит прислать отцу деньги – доллары на новую конягу. Мог бы сынок и саму конягу прислать, да уж больно накладно: по суху нельзя, а по воде за все плати: на кой ляд Шмуле-Сендеру новая лошадь? На его век и этой хватит.

– Знаешь, Шмуле-Сендер, чего я больше всего на свете хочу? – вдруг обращается к водовозу Эфраим.

Тоже мне загадка! Разбуди Шмуле-Сендера среди ночи, и он, не моргнув глазом, скажет, чего Эфраим больше всего на свете хочет. Он хочет получить хорошее письмо от Церты, хочет, чтобы она бросила своего фармазона и вернулась домой, пусть безмужняя, пусть с байстрюком. Он, Эфраим, их примет с радостью. Примет и дом им отпишет, какой-никакой, а все-таки дом с окнами и крышей, под которой еще Цертин прадед жил, под которой они все родились – и он, и его дети. Кто-то из них – об этом и подумать страшно – под этой крышей и умереть должен. И еще Эфраим хочет, чтобы Эзра перестал мотаться туда-сюда, обучился какому-нибудь ремеслу (ну, хотя бы стекольщика), женился на дочери почтенного рабби Авиэзера (Нехама до сих пор не замужем, того и гляди, девкой-вековухой останется); хочет, чтобы помиловали Гирша – ну если не помиловали, то хотя бы... хотя бы оставили в живых.

– Когда умру... хочу, чтоб меня похоронили там, где похоронят – дай Бог им жизни еще на сто двадцать лет! – моих детей. Хочу лежать вместе с ними.

– Наши дети не приедут сюда умирать. Не приедут, – твердо и печально говорит Шмуле-Сендер. – Так что лежать тебе не с детьми, а рядом со мной. Взять моего Берла. Какой ему резон деньги тратить?

– На что?

– Чтобы лечь рядом со мной... Далеко ехать... И твоим, Эфраим, далеко, хотя им дорога обошлась бы дешевле.

– Когда опустеют наши кладбища, кончится народ Израиля.

Шмуле-Сендер ежится. Он всегда ежится от правды, как от стужи.

– На обратном пути, – говорит он, – к Юдлу Крапивникову заедем. Камень посмотришь.

– А я решил ничего не делать... Мое надгробие подождет... – бормочет Эфраим. – Есть дело поважней.

Дело поважней! Гирш! Ему бы жить да жить, а он не сегодня-завтра предстанет перед военно-полевым судом, а что это за штука, Шмуле-Сендеру объяснять не надо. Как пораскинешь мозгами, несчастнее отца, чем Эфраим, во всей округе нет. Может, это от того, что от разных жен дети... С женами, как с водой. Когда черпаешь ее из одного колодца, то спишь спокойно, а вот когда бегаешь с черпаком то к реке, то к пруду, то к озеру, то к болоту, то и водой немудрено отравиться.

Эфраим входит в избу, где выдают письма и присланные богатыми родственниками деньги. До того как в избе обосновалась почта, тут был главный штаб мятежников, потом, после шестьдесят третьего, когда бунт утомили, изба отошла к монастырю. Чуть поодаль от нее печалился легкий, почти игрушечный костелик. Костелик сгорел (в него угодила молния), а куда настоятель девался, никто толком и по сей день не знает. Одни говорят, будто его в Сибирь сослали, другие (евреи) уверяют, будто он вместе с пятью россиенскими паломниками отправился в Иерусалим – пешком, через султанскую Турцию.

Старики озираются, ищут взглядом почтаря, но Ардальона Игнатьевича не видно.

Наверно, спит где-нибудь в затишке. Его благородие не намного моложе их – седой, лицо в морщинах, как будто плетеная корзинка, глаза потухшие. Только усы прыткие – так и норовят, как тараканы при дневном свете, уползти во тьму ноздрей.

Спит. Ну и пусть. Эфраим и Шмуле-Сендер подождут.

Водовозу не к спеху. Белый Берл, видно, еще даже пера в чернильницу не обмакнул. Не спешит и Эфраим. От Церты чего ждать?

Пусть Ардальон Игнатьевич спит. Они посидят на крыльце. Тоже маленько вздремнут. Человек спит – горе спит.

А горе у них у всех – и у Эфраима, и у Шмуле-Сендера, и у почтаря.

Померла у Ардальона Игнатьевича жена – Лукерья Пантелеймоновна, преставилась перед самым Покровом, сама намучилась и его, солдата своего верного, измучила. Пусть спит. Пусть. Человек спит – горе спит.

Старик Эфраим, Шмуле-Сендер, Авнер, жена корчмаря Ешуа Морта со своими близнецами шли за гробом Лукерьи Пантелеймоновны чуть ли не до самого православного кладбища. Рабби Авиэзер, и тот проводил мученицу до парикмахерской Аншла Берштанского. Повезло им с властью! Повезло! А когда евреям везет с властью, они забывают о том, что они евреи, и могут даже пойти на православное кладбище.

– Когда вы умрете, я вас тоже провожу, – пообещал растроганный почтарь-урядник. – Ей-богу.

И позвал их всех на поминки.

Один рабби Авиэзер отказался.

– Шма-Исроель, – восклицал захмелевший Ардальон Игнатьевич, первый урядник, изъяснявшийся с ними на их родном языке. – Слушай, Израиль.

И Израиль в лице Эфраима, Шмуле-Сендера, Авнера слушал, не смея прикасаться ни к еде, ни к выпивке.

– В день смерти хорошего человека все боги усаживаются за поминальный стол вместе. Кушайте, пейте... Шма-Исроель! Ваш бог чокается с нашим! – рокотал безутешный Ардальон Игнатьевич, и у всех у них в глазах стояли слезы, одинаковые, как небо над головой.

Вот и он, почтарь.

– Шолом алейхем, идн, – здоровается он с ними по-еврейски.

– Здравия желаем, ваше благородье, – по-солдатски отвечают рекруты Эфраим и Шмуле-Сендер.

– Мир вам, евреи, – Ардальон Игнатьевич улыбается, оглаживает усы, крякает по-молодецки. – Тебе, Шмуле-Сендер, нема... пишут еще... А может, забыл тебя твой Берл?

– Никак нет, ваше благородье! Еврейские дети не забывают своих родителей, – обижаются за своего сына уязвленный Шмуле-Сендер.

– Все забывают. И еврейские, и русские, и татарские.

– Никак нет.

Старик Эфраим не вмешивается в разговор, не перебивает Ардальона Игнатьевича, не требует от него письма, смотрит на двор, на лошадь, на ее свалывшуюся гриву и думает о том, что Шмуле-Сендер давно не купал ее, а надо бы... непременно надо бы... некупаная лошадь, что пашня в сушь.

– Почему ваши не забывают?

– Потому что другой страны у евреев нет.

– Другой?

– Кроме памяти... Наша страна, ваше благородье, не Россиенский уезд, не Америка, а память. В ней мы все вместе и живем: живые и мертвые, и те, которые еще не родились, но родятся под нашими крышами.

– А у нас что, по-твоему, такой страны нетути? – осаждает водовоза Ардальон Игнатьевич.

– Есть, ваше благородье. Но вдобавок еще имеются необъятные просторы... быстрые реки... большие города... Курск... Вологда... Туркестанский край...

В Туркестанском крае служит сын Нестеровича – Иван. И от него давно нет писем. И он пишет так же редко, как белый Берл из Нью-Йорка. Жалуется на жару, на каких-то ядовитых змей, на свое, как водится на Руси, начальство.

– Какой ты, водовоз, умник! Одного только в толк не возьму, почему ты всю жизнь при таком уме воду возишь?

– Уже не вожу, ваше благородье.

– Ну, возил... Почему?

– Потому что вода, как и жажда, никогда не кончается.

– Почему же ты, Шмуле-Сендер, не торгуешь воздухом?

– Как можно, ваше благородье, торговать тем, чем дышишь.

– Хват! Ей-богу, хват!

Нестерович достает из ящика обшарпанного дубового стола письмо со штемпелем, вертит в руке, словно взвешивает, и с какой-то почти церковной торжественностью протягивает, как облатку, терпеливому Эфраиму.

– С тебя причитается. Но ты лучше слово дай... Слово дороже денег... – говорит почтарь.

Письмо дрожит в руке Эфраима, и сама рука дрожит, а может, все вокруг дрожит от старости, от нестерпимой голубизны, от предвкушения мимолетной радости, спрятавшей в белый листок свое голубиное крыло. Эфраим слушает Ардальона Игнатьевича, и ему, несчастному отцу, кажется, будто он не письмо держит, а руку Церты, и руку дочери, такая похожая на руку любимицы Леи, тоже дрожит мелкой и благодарной дрожью, и Эфраим гадает по руке, как по письму, и далекое приближается, и тайна перестает быть тайной.

– Дай слово, что сделаешь памятник Лукерье Пантелеймоновне...

– Ваше благородье, я православным не делаю...

– А что, раз православный, значит, не человек?

– Человек.

– А ведь моя Лукерья вас, евреев, любила!

И Ардальон Игнатьевич принимается расписывать достоинства своей покойной супруги. Ангелом была, чистым ангелом. Вот и изобрази на камне серафима или там херувима. Пусть летает, каменный, по кладбищу. Ну, ежели ангела не можешь, Эфраим, то какую-

нибудь поникшую березку... Лукерья Пантелеймоновна из-под Вязьмы. А там, Эфраим, знаешь, сколько берез. Там берез больше, чем евреев на Руси, ей-богу.

Старик Эфраим кивает – мол, будет вам, ваше благородье; березка будет; вскрывает письмо и, косясь, как кошка на сметану, начинает читать.

– Читай, читай, – подбадривает его почтарь. – А мы со Шмуле-Сендером покалякаем. – Нестерович тычет кулаком водовозу в бок. – Не поверишь, твой сынок мне нынче приснился. Приехал из Америки и всем в округе часы золотые подарил... Со звоном... Открываешь крышку, а они динь-динь... динь-динь...

Диньканье Ардальона Игнатьевича мешает Эфраиму, он не может сосредоточиться, смысл письма ускользает от него, и он снова и снова спускается по шаткой лесенке строк сверху вниз, и чем ниже блуждает взгляд, тем темней и тягостней становится на душе.

Нестерович продолжает стрекотать про свой сон. Он, видно, придумал его в угоду Шмуле-Сендеру, от тоски. На самом деле Ардальону Игнатьевичу снилось (если снилось) другое, не Америка вовсе, не удачливый Берл, а что-то свое, родное, Катюша или Иван на персидской границе, пригрезились, наверно, родина, Беларусь, река Сож и сосновая роща над ней. Но кого удивишь родиной, рекой, сосновой рощей? Вот американские часы со звоном!., из чистого золота!., динь-динь-динь!..

«Ты за меня, отец, не беспокойся. У нас все есть. На жизнь, слава богу, хватает, – читает Эфраим. – Заработаю на дорогу, и летом с Давидом приедем к тебе в гости... А может, не в гости. Может, навсегда».

Почему летом? Почему не сейчас, думает старик Эфраим. Он вышлет ей деньги, те самые, которые ему посылает Шахна, пусть только не мешкает.

«Давид все время спрашивает о тебе – есть ли у деда мама, папа, умеешь ли ты говорить по-русски... мы дома говорим по-русски... я рассказываю ему про Литву, про Неман, про Мишкине и плачу».

В глазах Эфраима сверкают предательские слезы нахлынувшей нежности. Он плачет вместе с Цертой, ничуть не стесняясь ни почтаря, ни Шмуле-Сендера. А чего их стесняться? Разве они не такие же горемыки-отцы, как он? Что с того, что у одного сын торгует где-то за морем-океаном часами, а другой сторожит от коварных персов границу империи? Стоит ему, Эфраиму, вслух прочесть письмо, и каждый из них начнет оплакивать свою горькую, свою распроклятую судьбу, свою старость, свое знойное, как пустыня, одиночество.

Эфраим читает письмо Церты и словно молодеет от слез. Слезы смывают с него, как дождь с оконного стекла, въевшуюся пыль, тавро морщин, он снова сорокапятiletний, снова качает люльку, а в люльке маленькая безбровая девочка, она морщит лобик и смотрит на него, огромного и чужого. Эфраим чмокает губами и зовет ее, запеленутую, как бабочка в кокон: «Церта! Цертеню!», а потом к колыбели подходит Лея, берет на руки девочку, расстегивает кофту, достает розовую, как спелая груша, грудь с упругим, величиной с изюминку, соском, и от этой изюминки, от этой наготы, от этого слияния трех существ в одно возвышенное ожидание все оживает и светлеет в доме.

«Я уже, кажется, писала тебе, что мы живем то в Киеве, то в Каневе. В Киеве имеют право жить только богатые евреи и еврейки-проститутки. Здесь нас очень не любят. Как ты, наверно, догадался, я говорю не о себе и не о Давиде, а о других евреях. Но где нас любят? Где?»

Старик Эфраим переводит дух. Шутка ли – зараз столько, без запинки.

– «Где нас любят?» – повторяет он вслух, как бы заново разгоняясь.

– Что ты там бормочешь? – для приличия допытывается Шмуле-Сендер. В самом деле – они приехали сюда за письмом Церты, а не за тем, чтобы слушать рассказы Ардальона Игнатьевича. Сон, даже самый хороший – а сон Ардальона Игнатьевича про Берла Лазарека, одарившего всю округу золотыми часами, просто замечательный, – не сравнится с коротким,

пусть и скучноватым письмом, писанным на простой бумаге. Сон в карман не положишь, в комок не спрячешь, не пронумеруешь, во второй раз не перелистаешь, не прочтешь. А письмо! Лучшие сны для родителей – письма покинувших родное гнездо детей. Не потому ли Шмуле-Сендер хранит все лэттеры белого Берла. Он хранит их в особой шкатулке, пересчитывает, как банкноты, и, когда никто не видит, припадает к ним губами. Жена считает его сумасшедшим (она всегда считала его таким, но Шмуле-Сендер на нее не обижается. У сумасшедшей жены и муж сумасшедший, говорит он). Старик Эфраим, тот все письма рвет, а зимой пускает их на растопку: плохие вести, мол, как керосин.

– Ну, что твоя Церта пишет? – спрашивает Нестерович. – Прочти!

Ардальону Игнатьевичу толмач не нужен. За долгие годы службы он научился говорить по-еврейски лучше многих евреев. Рабби Авизер, новый человек в здешних местах, присланный вместо усопшего рабби Ури, чуть в обморок не упал, когда к нему первый раз явился Ардальон Игнатьевич, в сапогах, с пашкой на боку, и на чистейшем еврейском языке уведомил пастыря о кончине государыни-императрицы, потребовав, чтобы почтенный рабби отслужил поминальный молебен-кадиш.

Эфраим делает вид, будто не расслышал просьбу почтаря.

Он снова погружается в чтение, взгляд его что-то выискивает между строчками, как будто там, в пустотах и промежутках, и скрыто самое главное.

С Эфраимом всегда так. Чем больше он читает, тем сердитей пыхтит.

«Пишут ли тебе Шахна и Гирш?.. Как братец Эзра?»

Странно, отмечает про себя Эфраим, раньше она о них не спрашивала. О Шахне и Гирше вообще никогда не писала, понятия не имела, кто они – разбойники, воры, богачи, нищие? Неужто ее и впрямь на родину потянуло? А может, тот фармазон, сманивший ее, дурочку, поиграл с ней и выбросил как игрушку? Ах, Церта, Цертеню!.. Что за мир, что за время! Правду о родных детях, и ту нельзя узнать.

«Знаешь, кого я недавно вспомнила – меламеда Лейзера. Жив ли он? Учит ли еще ребятишек?»

Видно, худо ей, думает Эфраим, если про меламеда вспомнила. Когда из дому удирала, с отцом родным не попрощалась, ушла, как воровка. А сейчас на тебе – меламед Лейзер! Зарыли его, Цертеню, скоро год, как зарыли.

Эфраим продирается через заросли строк, шепчет чужие слова и в ответ складывает свои, неумелые, теплые – их только что наседка-обида снесла.

«Господи, как летят годы! Не успеешь оглянуться, как уже не тебе, а твоим детям пора в хедер. В праздник кущей Давиду исполняется семь лет. Через год-два его можно будет и в ученье отдать...»

Дальше зачеркнуто, слов не разобрать, сплошная зола, была чаша и сгорела дотла. Что же в ней росло?

Давида в учение? К кому? Сердце Эфраима ухает, как филин. Беда, сушая напасть, когда мать – ветрогонка. А во всем он сам виноват. Выгнал бы его в ту ночь, и горя бы не знали. Но Церта: «Впусти! За ним жандармы гонятся!» Почему за Эфраимом никогда в жизни никакие жандармы не гнались? Почему? Потому что жил по совести, по правде. Что это за правда, на которую науськивают собак, в которую стреляют? К тому же дом Эфраима Дудака – не ночлежка, не постоянный двор. «Впусти, отец!» И впустил, дурень, на свою голову.

Эфраим не будет дожидаться лета, он привезет внука, не мешкая, сделает его своим помощником, обучит своему ремеслу, вложит ему в руки кирку, а в сердце вдохнет искру божью, и станет он славным на всю Литву каменотесом. На каменотесов никто не охотится, каменотесов никто не вешает, у каменотесов одна правда – каменная, вечная, как Моисеевы скрижали. Кто-то в семье должен наследовать и его, Эфраима, дело, не завлекать фармазо-

нов, не палить в губернаторов, не смешить на ярмарках честной люд и даже не прислуживать, как Шахна. Тесать! Тесать! Тесать камни! Пока кирка из рук не выпадет!

Ардальон Игнатьевич и Шмуле-Сендер спорят о том, наступит ли конец света при их жизни или после. Нестерович уверяет, что «при», а Шмуле-Сендер не соглашается. Какой может быть конец света, если у Берла так хорошо идут дела?

– Конец! Конец света, – хрипит Эфраим. – Если еврейские дочери бегут с фармазонами из дому, если сыновья отрекаются от своих отцов или откупаются шуршащими американскими или русскими бумажками, если виселица им дороже, чем ласка матери, – конец!

Эфраим недовольно сопит большим, как огурец на грядке, носом.

Ардальон Игнатьевич удивленно переглядывается со Шмуле-Сендером, но тот только втягивает свою уставшую от спора голову в замызганный воротник.

– Поехали домой, – говорит Эфраим.

Домой так домой, хотя Шмуле-Сендеру спешить некуда. Еще не все сны истолкованы, еще не все новости обглоданы, но раз Эфраим просит, так тому и быть. Жаль только, что от Берла ничего нет.

Из Киева письма долго идут, а из Америки еще дольше – пока переплывут океан, пока их на корабле привезут в Россию, в Петербург или Ригу, пока оттуда на перекладных доставят сюда, в Северо-Западный край, к мистеру Шмуле-Сендеру Лазареку (Берл на каждом конверте так и пишет: мистеру Шмуле-Сендеру Лазареку. А что такое «мистер», никто в местечке не знает), полгода пройдет, а может, и больше.

– Поехали, – говорит Шмуле-Сендер, и печаль бледнит его лицо.

– И я с вами, – напрашивается в попутчики почтарь Ардальон Игнатьевич. – До именина Завадского. Газету отвезу.

Час от часу не легче. Но разве откажешь его благородию? Посадят на его место другого, и годами письма не получишь.

Эфраим и Ардальон Игнатьевич забираются в телегу, устраиваются поудобней, и Шмуле-Сендер дергает вожжи, как в юности косы своей жены.

Обычно Эфраим идет на почту или с почты пешком. Идет и все восемь верст беседует с Цертой (она одна ему и пишет). И тогда белый листок – не белый листок, а как бы играющая в прятки Церта, спрятавшаяся за каракулями, и буквы не просто буквы, а ее губы, нос, глаза. Тогда в руке старика Эфраима не письмо шелестит, а волосы Церты – длинные, ласковые, втекающие в его ладонь, как речка.

Старику Эфраиму ничего не стоит превратить листок бумаги в лицо. Он может одушевить и камень, и тележные колеса.

Бывало, уставится на свою пророчицу-козу, на ее всклокоченную шерсть, и по шерсти, как по испятнанному чернилами листу бумаги, читает слова Церты или Шахны, Гирша или Эзры.

Коза-письмо всегда рядом. За ним никуда не надо ехать.

Почта Эфраима в отличие от почты Ардальона Игнатьевича, Шмуле-Сендера и других жителей местечка связывала его не только с миром здешним, но и миром потусторонним, и эта двойная связь не обременяла Эфраима, не тяготила, не выделяла среди прочих, а придавала его затухавшей жизни еще какой-то дополнительный и необыденный, может, самый важный смысл.

В местечке поговаривали, будто он умеет вызывать духов, будто почти ежедневно общается со своими покойными женами, особенно с любимицей Леей, рассказывает ей об Эзре и Церте или, присев на край какого-нибудь надгробия, чертит ореховой веткой на земле последние местечковые новости.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.